Не-мемуары

Лотман Юрий

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Идея записать военные рассказы Ю. М. Лотмана принадлежит Заре Григорьевне Минц. Осенью 1988 года Юрий Михайлович неохотно и с большим количеством оговорок согласился начать диктовать свои воспоминания, но за недостатком времени этот замысел постоянно откладывал. Диктовать «Не-мемуары» он начал только в декабре 1992 года. Работа продолжалась до конца марта с большими перерывами. Частично воспоминания были записаны на диктофон, частично продиктованы автору этих строк. К публикуемому тексту Юрий Михайлович относился как к самой первой «конспективной версии» и с конца февраля начал работать над дополнениями — они внесены в основное повествование в соответствии с несколько условной внутренней хронологией. Тематика дополнений имела случайный характер — это было обращение к традиционным сюжетам его рассказов о войне. Юрий Михайлович полагал, что, когда подобные сюжеты будут исчерпаны и внесены в основной текст, предстоит еще уточнить фактическую сторону воспоминаний и отредактировать их. Эту работу Юрий Михайлович сделать не успел. В какой-то мере этот пробел был восполнен Лидией Михайловной Лотман и Михаилом Юрьевичем Лотманом. Е. А. Погосян

- НЕ-МЕМУАРЫ{1}{2}
  -
  - Как вшей выводить
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26

НЕ-МЕМУАРЫ{1}{2}

В тридцать девятом году Ворошилов заявил в одном из выступлений — я сейчас не помню в каком, — что отсрочка, которую получают студенты, несправедлива, и все студенты были лишены ее. Я учился на первом курсе филологического факультета, на отделении русского языка и литературы.

Поступление в университет совершенно переменило мою жизнь. В школе в шестом — седьмом классах я пережил трудное время. У меня был конфликт с учительницей русского языка и литературы — как ее звали, не помню — и с определенной частью класса. Был один эпизод: мы проходили «Ревизора», учительница разбила класс на роли, и мы читали по ролям. Я должен был читать Хлестакова. Впервые в жизни я почувствовал в себе наклонность к артистизму. И помню, как с особым чувством я выкрикнул: «Несут…» Класс захлопал, а учительница сказала, что я действительно хорошо играю Хлестакова, потому что это мой характер. Я был страшно оскорблен. На будущий год, начиная с девятого класса, у нас переменились учителя. Классным руководителем стал Дмитрий Иванович Жуков, математик, а литературу и русский язык вел Ефим Григорьевич.

Я вдруг понял, что в школе может быть интересно. В девятом — десятом классах я неожиданно для себя стал хорошо учиться. Меня увлекала тригонометрия, математика вдруг перестала быть мучением, и особенным увлечением неожиданно стала литература. Я зачитывался Достоевским. Толстого к этому времени я уже прочел всего (издание с черными томами — приложение к журналу «Огонек»). «Войну и мир» прочел несколько раз (до сих пор читаю ее непрерывно и не знаю, сколько раз читал, хотя, наверное, помню уже наизусть). Особенно меня поразили сказки Толстого.

После урока с Ефимом Григорьевичем подолгу мы говорили о Достоевском. Одновременно у меня в жизни произошло еще одно важное событие. Лида{3} поступила в университет. У нас дома начали бывать студенты (у Лиды был круг друзей и подруг, и они готовились к экзаменам у нас дома). В этом году еще (это был последний год) в университет не принимали детей служащих (это называлось «из нерабочих семей») без предварительной производственной практики. Надо было минимум два года отработать на производстве. Поэтому в группе Лиды только она и ее подруга Нелли Рабкина были непосредственно из школы. Лида, как правило, готовилась к экзаменам вместе с небольшой группой в нашей большой квартире на Невском. Кроме Лиды и

Нелли там был молодой парень Наумов (потом женившийся на Нелли, которая после замужества преподавала и писала статьи под фамилией Наумова) — бойкий, интересовавшийся советской литературой, что тогда казалось не наукой, чем-то слишком новым для науки. Наумов тщательно скрывал, что был из репрессированной семьи{4}, и уже вступил на путь партийной карьеры. В дальнейшем он на нем преуспел как руководитель ленинградского издательства. Но для меня решающей оказалась другая встреча — Анатолий Михайлович Кукулевич. Отработав агрономом необходимые для трудовой практики два или три года, он поступил в Ленинградский университет и одновременно учился на русском отделении под руководством Григория Александровича Гуковского и на античном под руководством Ивана Ивановича Толстого. Этот блестяще одаренный и обаятельный человек, которому Гуковский сулил исключительное научное будущее, успевший опубликовать несколько статей о Гнедиче в Ученых записках Ленинградского университета и главу в только что тогда вышедшем томе «Истории русской литературы», погиб под Ленинградом в конце 1941 года. Он пережил отступление от границы до Ленинграда, забежал в военной форме к нам домой очень веселый и возбужденный — он только что вырвался из окружения.

Он оказал на меня большое влияние. До этого я собирался заниматься энтомологией. В этом меня поддерживал приятель Кукулевича Саша [Александр Сергеевич] Данилевский, в будущем профессор-энтомолог, который был праправнуком Пушкина, происходил по прямой линии от сестры Гоголя и был непосредственным родственником писателя Данилевского. В профиль он немного напоминал молодого Гоголя и того Пушкина, который нарисован на картине Н. Н. Ге «Пушкин в Михайловском» (у Ге странный Пушкин — мало похожий на Пушкина, но чуть-чуть на Сашу Данилевского). Не без влияния обаяния Саши Данилевского я собрался стать энтомологом и усердно читал специальную литературу. Загадочный устрашающий и притягивающий меня мир насекомых до сих пор вызывает во мне странное чувство — я думаю, что именно насекомые, с их исключительно медленной эволюцией и поразительной силой выживания, будут последним населением нашей планеты. Они, бесспорно, наделены интеллектуальным миром, но этот мир для нас навсегда будет закрыт. Итак, с насекомых я «переселился» в русскую литературу. Под влиянием Ефима Григорьевича и Толи Кукулевича у меня пробудился интерес к литературе и — шире — к филологии вообще. Я начал изучать греческий язык (который я сейчас, к сожалению,

совершенно забыл).

Мы все быстро взрослели. В классе по крайней мере у человек десяти были арестованы родители, Был арестован и вскоре расстрелян отец моего лучшего друга Борьки Лахмана. Он был видным партдеятелем и директором Института слабых токов. В доме у них висел большой портрет Рыкова, как говорил Борька, подаренный им самим. Расстрел отца и ссылка матери и сестры (Борька остался в квартире один, его не тронули) не повлияли на нашу дружбу. Мы продолжали встречаться по вечерам на его теперь уже пустой квартире или дома у нас и оба с радостью говорили, что скоро будет война. Сейчас это звучит дико. Начиная с Испании мы чувствовали всю неизбежность войны. Вообще, нет для меня ничего более смешного, чем рассуждения о том, что Гитлер внезапно и «вероломно» напал. Может быть, только лично Сталин был опьянен тем, что он считал очень хитрым, и заставил себя верить в то, что союз с Гитлером устранил опасность войны, но никто из нас в это не верил. Правда, некоторые девчонки (я забегаю на год с лишним вперед и, перескочив время испанской войны, вспоминаю об эпизоде, когда Риббентроп приехал в Москву) вдруг начали носить прическу арийских дев (валиком), и одна из однокурсниц Лиды у нас в доме говорила, что у Риббентропа «неотвратимо влияющие глаза». Но это такое краткое германофильство в кругу, о котором я могу говорить по личным впечатлениям{5}, охватило только девчонок — старших школьниц и студенток{6}.

Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал, я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен военных пунктов, места сражений Интернациональной бригады. Замечу в скобках, что Хемингуэя тогда мы уже знали — мы читали его «Прощай, оружие!» и зачитывались им — это было опубликовано в журнале, который тогда назывался еще, кажется, «Интернациональная литература». Вообще мы очень много читали, прямо как опьяненные. За последние два школьных года я перечел собрание Толстого, отец мне купил двенадцатитомник Достоевского. У нас в семье детям дарили только книги. На это денег ни при каких обстоятельствах не жалели. А читал я как осатанелый.

Мы с Борькой даже пробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали и, подвергнув

тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили. Борьку не взяли в армию в сороковом году, когда взяли меня. В это время он переживал сильное любовное увлечение. (Его возлюбленная Женя Зенова потом вышла замуж — это уже впечатления послевоенные — за человека, который, видимо, очень сильно ревновал ее к памяти погибшего Борьки и, видимо, внушил прежде ей совершенно чуждые антисемитские настроения и речи. До войны ничего подобного, конечно, не было{7}).

Школу я неожиданно для себя кончил как отличник с красным аттестатом. Подозреваю, что Ефим Григорьевич несколько подправил мое сочинение. Сочинение я писал по «Двенадцати» Блока, исписал целую тетрадь, не успел не только переписать, но даже проверить — думаю, что ошибок было значительно больше, чем официально числившихся «0 орф./1 синт.», — это в черновике-то! Здесь, я думаю, сказалась доброта Ефима Григорьевича, который поощрял мой интерес к литературе и сквозь пальцы смотрел на некоторые орфографические недостатки. И оценка была «отлично». Это позволило получить красный аттестат, что давало право на поступление в вуз без экзаменов. Доброта ли Ефима Григорьевича, или осенившее меня орфографическое вдохновение, но это сыграло большую роль: на выпускной вечер я пришел без пиджака, потом мы всю ночь бродили по Ленинграду, я заболел тяжелым воспалением легких и пролежал в постели до начала сентября. Если бы я должен был сдавать экзамены, то не смог бы поступить в университет в этом году и вся моя судьба пошла бы другим путем. К сентябрю я выздоровел.

Время между началом университетских занятий и призывом меня в армию было, без каких-либо преувеличений, счастливейшим временем. Введение в литературоведение читал Гуковский, введение в языкознание — Александр Павлович Рифтин{8}, крупнейший специалист в области семито-хамитской филологии. Оба читали блестяще. В университете все для меня было сказочно прекрасно. У меня сложились очень хорошие отношения с группой. У нас была замечательная группа; правда, вскоре юношей всех забрали в армию — я не подходил по возрасту, и меня взяли через год в начале второго курса. На курсе остались три мальчика — двое других не попали в армию по здоровью, и оба потом умерли во время блокады.

На первом курсе я увлекся фольклором, ходил на дополнительные занятия Марка Константиновича Азадовского и сделал очень удачный доклад на семинаре Владимира Яковлевича Проппа. (Пропп вел только семинарские занятия, лекции читал Азадовский — и то и другое было страшно

интересно.) Доклад посвящен был теме «Бой отца с сыном в русском фольклоре» (с параллелями в немецком фольклоре). Проппу он, кажется, очень понравился.

По крайней мере, когда после войны в солдатской шинели и немецких сапогах{9} я пришел в университет, то в коридоре перед деканатом увидал В. Я. Проппа и поздоровался с ним. Посмотрев на меня (в моей длинной шинели, думаю, вид у меня был совсем не марциальный, пользуясь выражением Петра I), он поздоровался и сказал: «Постойте-постойте. Вы — брат Лиды Лотман. Нет, вы сами — Лотман». (Здесь, конечно, не только моя заслуга — Пропп обладал поразительной памятью и, видимо, помнил большинство студентов.) Среди разных наград и поощрений, которыми меня щедро и, боюсь, не всегда заслуженно дарила жизнь, слова Проппа я запомнил как одну из ценнейших.

В самом начале второго курса меня вызвали в военкомат и сообщили, что в течение ближайших недель я буду призван в армию. Я поспешил сдать экзамены за весь второй курс вперед (тогда это казалось невероятной глупостью, но потом, когда я вернулся, странным образом оказалось очень кстати).

Наконец, я получил приказ явиться в военкомат. Все казалось очень простым и прозаичным. Все знали, что приближается война, но как-то лихорадочно старались об этом не думать. Все, по крайней мере в моем кругу, непрерывно веселились, а в кинотеатрах шел фильм «Если завтра война» (1938), и все пели песню с тем же названием. И фильм, и песня были очень бодрые:

Если завтра война.
Если враг нападет,
Если тучею черной нагрянет…

Основной ударной силой в будущей войне представлялись тачанки. Фильм кончался праздником победы после войны: с экрана на нас смотрели популярные актеры (на войне, которая шла на экране, конечно, никто из них не погиб), а за спиной у них пылал фейерверк победы. Такой представлялась нам война. Такой, да не такой. Мы все читали «На западном фронте без перемен» Ремарка и «Прощай, оружие!» Хемингуэя и достаточно много слышали и говорили о мировой революции, о второй всемирной войне. И как-то усердно об этом забывали.

Это чувство напоминает мне следующее, лично пережитое: летом сорок второго года нам довелось вырываться из окружения. Мы вытаскивали с собой наши орудия, которые везли трактора. За минуты — не могу сказать, сколько их было, может быть пятнадцать, может быть сорок, — убило двух трактористов, на их

место садились новые (тракторист не мог прижаться к земле, находился практически без защиты на своей медленной, шесть-восемь километров в час, и неуклюжей машине). Трактора были гражданские, мы их до этого реквизировали в колхозе. Такое же чувство надвигающейся угрозы и вместе с тем желание забыть о ней было, помню, за несколько минут до начала прорыва. Мы все лихорадочно уснули «про запас», ощущая, что этот отдых нам еще потребуется. То же самое было и перед войной: все, не говоря этого, чувствовали, что эти минуты нам еще понадобятся. Все торопились веселиться.

Так и у нас дома. Отец уезжал в командировку за день до того, как я должен был явиться в военкомат. Я отправился на студенческую вечеринку, которую группа устраивала мне на прощание, и вышло так, что в армию я ушел не простившись с отцом и больше его никогда не видел. Мать пошла на работу в свою поликлинику. Провожать меня пошла только средняя сестра Лида, которая принесла мне конфет.

Провожали нас торжественно. Перед погрузкой нас выстроили около вагонов и командир эшелона объявил, что с прощальным словом к нам обратится старый питерский пролетарий. Слово это я запомнил на всю жизнь как «Отче наш»: «Ребята! Гляжу я на вас, и жалко мне вас. А пораздумаю я о вас, так и… с вами!» «По вагонам!» — взревел командир, и мы отправились в путешествие, которое оказалось долгим.

Ехали мы весело, в теплушке, сразу разбились на небольшие группы. Я был на втором этаже, а третий этаж напротив заняла группа, которая назвала себя лордами, а свою полку — палатой лордов. Мы, естественно, противостояли им как демократия.

Дорога была очень веселой. Все было ново — и быт, и география: нас везли в Грузию. Только в Кутаиси нам сообщили, где мы будем служить. Местом службы был назначен 427-й артиллерийский полк. В этом полку (он менял название, превращался в гвардейский, потом в бригаду) под командованием командира полка К. Дольста я прослужил всю войну.

Дольст был немец. Правда, в той ситуации такая национальность не очень украшала, и он называл себя латышом, но все знали правду. Большинство офицеров из среднего и высшего командного составов к этому времени были арестованы, и армия практически была передана молодым командирам, занимавшим должности выше своих чинов. Как ни странно, это оказалось в военном смысле очень выгодно — старое начальство ворошиловских и буденновских времен или аракчеевцев типа маршала Тимошенко показало себя во время войны абсолютно не пригодными ни к чему.

На фронте один только раз, протянув связь в не помню какой, но очень высокий штаб, я видел маршала Тимошенко: он сидел в блиндаже под тремя накатами (наша землянка была прикрыта еловыми ветками, присыпанными сверху землей) и еле мог выдавить из себя слово — губы его тряслись, хотя никакой реальной опасности вокруг не было.

Осмелюсь сказать, что жестокий сталинский террор, прокатившийся по армии, пусть это покажется диким, имел, вопреки ожиданиям и самого Сталина, положительную сторону — он очистил армию от бездарных и некультурных командиров, доставшихся от первых послереволюционных лет. Конечно, среди репрессированных были и мужественные, и талантливые люди — они погибли в первую очередь, но террор был столь широким, что под него попадали и дураки. По крайней мере (уклонюсь от общих рассуждений и буду говорить только о личном опыте) полк, в который я попал, был укомплектован командирами (слово «офицер» тогда не было принято), занимавшими должности выше звания, молодыми и хорошо подготовленными. Скажу несколько слов о них, потому что с ними мне пришлось провести практически всю войну. Командир батареи капитан Григорьев был блестящий артиллерист. Командиром взвода был только что призванный запасник Шалиев, которого мы называли Стариком, — ему было чуть-чуть за сорок. Умный и, что очень важно, очень спокойный в боевых условиях человек. Военной выправки в нем не было ровно никакой, артиллерист же он был очень хороший. Заканчивал войну уже не в нашем полку, в генеральском чине, и, кажется, в конце войны погиб.

Начало боевых действий воспринималось нами как давно ожидаемое и потому облегчающее событие. А кроме того, было весело (да, да, весело) пережить на практике то, что так долго переживалось и уме. Помню такую сцену в один из первых дней. Я — на огневой у телефона. Пушки стреляют. Прямо к пушкам, несмотря на падающие поблизости снаряды, подкатывает полуторка. С крыла ее (особый шик был в том, чтобы ехать не внутри, а стоя на крыле машины: кроме шика, это давало возможность вовремя замечать пикирующие самолеты, но шик тоже был важен) соскакивает командир дивизиона и лихо, громовым командным голосом произносит: «Молодцы, первая (то есть первая батарея — это мы)! По вам стреляют, и вы стреляете, и получается — что получается? — артиллерийская дуэль».

Время, прошедшее между прибытием в часть и началом войны, заполнено было обычными обстоятельствами солдатской службы и не заслуживает подробного рассказа. Новыми были только выезды на «боевые стрельбы». Шли бесконечные южные

зимние дожди, мы втаскивали наши пушки на горы. Одну по скользкой, покрывающей гору грязи уронили вниз, к счастью никого не убили. Потом ее вытаскивали тремя тракторами.

Очень мокрый и покрытый грязью, я зато наслаждался полной волей после казарменных месяцев.

Грузины-горцы были исключительно приветливы. Нас, мокрых и грязных, зазывали в их построенные из плоских камней на вершинах не очень высоких гор хижины, грели, сушили нашу одежду и кормили. Помню, хозяин одного дома был солдатом в первую мировую войну, и он нам очень долго рассказывал, объясняя, что такое война.

Вскоре после возвращения с учений пришел приказ: полк разделить на две части, одну оставить на Кавказе, а другую переводить на западную границу. Вскоре я с теми, кто должен был ехать на запад, уже был в вагоне.

Нас привезли в Шепетовку, и вскоре мы переехали в летние лагеря в Юзвин. Война явно приближалась — это было видно из того, как часто нам на политзанятиях разъясняли, что войны с союзной Германией, конечно, не может быть.

Я твердо решил на приближающейся войне не показать себя «хлюпиком» и все свободное время делил между французскими книгами и турником, так что к началу войны без большого труда сдал все спортивные нормы (бег и прыжки для меня никогда не были трудностью, а на турнике я натренировал себя до твердой армейской «четверки»).

Война началась для меня так. Лагерная жизнь шла в палатках. За палатками проходила «линейка» — дорога для солдат полка, по которой мы все ходили. Перед палатками проходила «линейка», по которой проходили только дежурные часовые и офицеры, находившиеся в этот день в наряде (она была усыпана желтым песочком). Еще дальше проходила еще одна «линейка», по которой не ходил никто. Там стоял часовой, заходить на дорожку разрешалось только тем, кто ее подметает и собирает с нее упавшие листья. По ней мог ходить командующий, если бы он заехал в часть. Однажды мы, как всегда, утром отправились на учебу, то есть нагрузили себя катушками, лопатками, топорами — всем, положенным по уставу, — и отправились в лес спать. Выспавшись к обеду, мы строевым шагом, с бодрой песней отправились назад. Но подходя к лагерю, мы вдруг увидели, что на «святая святых» стоит развороти вший дорожку пыхтящий трактор. Сразу стало ясно, что ничего, кроме конца света, произойти в наше отсутствие не могло. Лагерь был весь перевернут. Была объявлена боевая тревога. Выстроенные с полной боевой выкладкой, мы выслушали объявление (произнес

его комиссар Рубинштейн — Дольст отправился в штаб армии получать боевое задание), что мы отправляемся, в точном соответствии с учебным планом, на новый этап боевой подготовки (за три дня до войны — 19-го), что тот этап обучения, который предстоит пройти, называется «подвижные лагеря», — двигаться будем только ночью, днем — маскироваться в лесах и придорожных кустах. И несколько изменив голос, комиссар добавил: «Кто будет ночью курить — расстрел на месте». После этих слов дальнейших пояснений уже не потребовалось.

Точно помню охватившее нас (пишу «нас», потому что мы на эту тему говорили) общее чувство радости и облегчения, какое бывает, когда вырвешь больной зуб. Как говорит Сальери у Пушкина:

> Как будто тяжкий совершил я долг,
> Как будто нож целебный мне отсек
> Страдавший член!{10}

Для нас союз с Гитлером был чем-то противоестественным, ощущением опасности в полной темноте. А теперь и началось то, к чему мы всегда готовились и для чего себя воспитывали: началась война, которая, как мы полагали, будет началом мировой революции или, по крайней мере, продолжением испанской увертюры. Не могу утверждать, что именно так чувствовали все вокруг меня, но чувства ленинградской молодежи, моих друзей, были приблизительно такими. Правда, мой друг Перевощиков{11} оказался умнее. Когда мы говорили: «Слава Богу, началась война!» — он добавлял: «Теперь и Сталин, и Гитлер полетят…» (не уточняя, куда). Другие так не считали, хотя друг от друга мы своих мыслей не скрывали. В любом случае нарыв прорвался.

Мы в касках, в подогнанных по росту шинелях, с трехлинейными винтовками (автоматы мы только видели издали — ими обвешивались штабные начальники) с гордостью проезжали (в дальнейшем движение все убыстрялось, и мы уже ехали и днем и ночью) через деревни, и девушки из приграничных деревень забрасывали нас цветами и кричали (это точно, так оно было): «Не пускайте к нам немцев!» Как потом, «драпая», — наш технический термин для обозначения отступления — стыдно было вспоминать эти минуты!

Особенно стыдно было, помню, мы отходили и шли через то ли большую станицу, то ли маленький городок — как всегда, по обе стороны дороги стояли толпы, женщины и дети. И мальчик, взглянув на мою винтовку, крикнул: «Винтовка ржавая-то». В эту

ночь я не спал — чистил и смазывал винтовку. В дальнейшем — льщу себя надеждой — ржавой винтовки у меня не было.

Приведу еще один пример, правда уже из «драпа» сорок второго года. Мы проходили через брошенный военный лагерь, набрали там гранат и даже консервов, в лихорадке оставленных тыловиками, а мой лучший друг Лешка Егоров{12} нацепил себе нечто самое нелепое, что я видел за все время войны: фронтовую фляжку, отлитую из стекла какими-то выполнявшими план тыловиками; таскать стеклянную фляжку во фронтовых условиях — верх нелепости. Я с изумлением спросил Лешку, что это он, и получил объяснение: «Сохраняю в драпе вид бойца в полном обмундировании, чтобы видели местные жители, что мы не драпаем, а отступаем по плану». И он действительно не драпал, а отступал.

Начало войны догнало нас недалеко от старой границы. В середине ночи мы подошли к Днестру в районе Могилева-Подольского и сразу развернулись. Наблюдательный пункт был на старой границе, на возвышенном берегу Днестра. Линия занимала километров семь, посредине был разбит промежуточный пункт, и я был на промежуточном. Фронт еще не вышел к старой границе (на днестровский берег, где мы развернулись). Три дня мы стояли как бы в тылу, не видя перед собой никаких войск, Перед нами была Молдавия, в которой должны были находиться наши войска. Были ли они там — я не знаю, но с той стороны к нам из наших войск никто не пришел. Справа, в стороне Киева, грохотало. Над нами усиленно летали немецкие самолеты, но не бомбили. Самым крупным событием этих дней было следующее: мы расположились в районе, где раньше стояли наши тылы. Не ведаю, по какой причине тыловики удрали, причем так беспорядочно, как будто отступление было под прямым напором немцев, хотя те были еще очень далеко. Все свое имущество они побросали.

Лазая между брошенными ящиками с амуницией, снарядами и боеприпасами, мы обнаружили два больших ящика яиц (не знаю, сколько, но их было несколько тысяч). Мы сообщили об этом «по линии», и к нам потянулись со всех точек дивизиона. Помню, что сами мы ели яичницу из четырехсот яиц каждая после довольно тощего военного пайка.

Маленькое отступление о военном языке. Военный язык отличается прежде всего тем, что он сдвигает семантику слов. Употреблять слова в их обычном значении противоречит фронтовому языковому щегольству. Но это не индивидуальный акт, а каким-то образом возникающие стихийно диалекты, которые зависят от появления некоторых доминирующих слов,

как правило связанных с доминирующими элементами быта (а быт складывается очень быстро, даже если он подвижный, как, например, в отступлении). Он предметно очень ограничен и общий для всего пространства фронта, так что слова этого быта становятся как бы субъязыком. Определяющее слово сорок первого — лета сорок второго года было «пикировать». Этим словом можно было обозначать почти все: «спикировать» могло означать «украсть», могло означать «удрать на какое-то мероприятие», например «спикировать к бабам» или же «завалиться спать» («пока вы чапали, я тут спикировал»), «уклониться от распоряжений начальства» и т. д. Обычно оно означало некое лихое действие, которым можно похвастаться. Помню, как разъяренный офицер из какой-то другой части, у которого из легковушки что-то украли, кричал на своего шофера: «Пока ты дрых, у меня тут пистолет и все барахло спикировали!» Были потом и другие такие слова, по которым мы сразу узнавали, с нашего ли фронта человек или нет, — своего рода жаргон.

Прямые же значения слов табуировались. Так, например, существовало устойчивое табу на слово «украсть». Оно казалось отнесенным к другой — гражданской и мирной — и оскорбительной семантике. Мы знали, что немцы употребляли вместо него слово «организовать», но словом «украсть» не пользовались, тоже находя в нем неприятный привкус.

Когда-то в романе «Огонь» Барбюс цитировал разговор окопного писателя с солдатами-однополчанами. Солдат интересовало, как их фронтовой товарищ будет описывать войну — с ругательствами или нет. И решительно заверяли его, что без ругательств написать правду о войне нельзя. По своему опыту скажу, что дело здесь не только в необходимости передать правду. Замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств.

Настроение у всех было лихорадочно-веселое. Мимо нас на самую передовую линию проехали в дальнейшем совершенно бесполезные сорокопятки (45 *мм* или противотанковые пушки). К нам зашел покурить командир одной из этих пушчонок, лихой красавец-грузин со значками, которые выдавались победителям армейских соревнований. Помню, как лихо он держал наотмашь где-то добытую немецкую сигару (это был такой шик, что он даже не затягивался, чтобы подольше протянуть). Сообщив, сколько выстрелов он делает в минуту, он добавил: «Семь танков сожгу, прежде чем меня раздавят!» (формула эта звучала не ернически, а

естественно — мы все так просчитывали). В ту же ночь я его снова встретил. Он был грязен, в разорванной гимнастерке, пушки рядом не было. «Понимаешь, Юрка (мы уже были на „ты“ и по именам), — не сказал, а буквально прорыдал он, — не берут. Я восемь раз попадал в танк, а ему (сменим лексику) хоть бы хны». Орудие его было раздавлено.

Двое суток мы вели непрерывный огонь и удерживались на исходной позиции. Наблюдательный пункт был уже занят, и разведчики и вычислители вместе с командиром батареи прибежали к нам на огневую. Еще полдня мы выдерживали на этой линии. К вечеру второго дня нашей войны было приказано с наступлением темноты отступить на четыреста метров… Кстати, когда наступила ночь, кухня побаловала нас: нам привезли вместо вечерней баланды прекрасную рисовую кашу. Это был запас, который не разрешалось расходовать. Настроение было, как говорит солдатская пословица: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!» Затем началось отступление, которое первое время шло достаточно организованно.

Пользуясь тем, что противник ночью не воевал и с заходом солнца прекращал все боевые действия, мы держались принципа: выстоять до захода солнца. Когда наступала южная темная ночь, мы быстро сматывали линию и отходили, сначала на несколько километров, Там развертывались и окапывались, а утром начиналось все снова. Но через несколько дней «юнкерсы» усиленно бомбили небольшую станцию у нас в тылу, а рано утром откуда-то сбоку туда прорвались танки. Это было наше первое окружение. Затем слово «окружение» стало одним из самых употребительных у нас.

Фактически окружением назвать это было нельзя, как слоеный пирог нельзя назвать кренделем. Это было подвижное состояние перепутанных между собою армий, которые все время стремились образовать нечто, что можно было назвать словом из военного учебника — «фронт». Постепенно возобладал совсем другой, не предусмотренный военной теорией принцип: те, кто обладали большей скоростью передвижения, оказывались впереди (так, например, штабы, автомобильные колонны, снабжение и танки оказались дальше всего в тылу), часто совершенно теряя связь с разбросанными воюющими частями. А пехота и артиллерия оставались позади.

У нас были прекрасные пушки и очень хорошие артиллеристы, но положенные нам скоростные тягачи мы потеряли довольно скоро. И потом уже до сорок третьего года нам не давали взамен ничего. Мы пользовались сельскохозяйственными гусеничными тракторами, которые мы

реквизировали в колхозах и которые давали шесть километров в час, то есть не имели ровно никакой надежды оторваться от противника. Именно от этого наша тяжелая артиллерия несла такие большие потери в технике. Все-таки кое-как мы пушки тянули, не бросали их. Мы приспособились подключать к орудию два трехтонных грузовика. По ровному месту и даже в гору дело шло. Но с горы раскатившиеся орудия нажимали сзади на машины и шофера в ужасе бежали рядом со своими грузовиками и управляли рукой или же стояли на крыле. Потом начались дожди. Техника противника начала тонуть в клейком мокром черноземе, и движение фронта замедлилось. Мы, мокрые, проваливаясь в жидком черноземе, проклинали дожди, которые, по сути дела, нам очень помогли.

В начале войны нам стали выдавать знаменитые «наркомовские» сто грамм, то есть сто грамм водки (должен отметить, что в дальнейшем в отступлениях и окружениях бывали перебои с едой, почту мы не получали месяцами, снаряды нам доставляли относительно регулярно, но наркомовские сто грамм мы получали постоянно без перебоев). Конечно, по пути от них отхлебывалось немало, но это покрывалось потерями в людях, так что в общем положенные сто грамм до нас доходили полностью и неразбавленными.

Я до начала войны водки даже не нюхал. Дома у нас бывало столовое вино (отец понимал в винах и любил хорошие), но водка появлялась только на праздники для гостей. Когда нам начали выдавать водку, я свою порцию первые два дня отдавал ребятам. Но потом пятеро моих друзей собрались и слили свои дневные нормы вместе. Единым духом я лихо выпил поллитра водки. Помню только, что успел залезть в блиндаж и завалиться на солому спать.

Не знаю, сколько прошло времени, но меня растрясли. Пока я протирал глаза, мне в уши накричали, что немцы прорвали фронт на запад от нас и ушли глубоко в тыл, что мы практически опять в окружении и надо срочно сматывать. «Сматывать» в данном случае имело два значения — «сматывать удочки», то есть драпать, и сматывать катушки с телефонным проводом. В случае отступления оба значения сливались. Меня растрясли, и я нашел силу выполнить свою работу — смотал свои катушки и потащил их. Не без гордости скажу, что катушки и аппарат я все же в целости доставил на место. Но ребята потом рассказывали, что вопреки приказу двигаться молча и говорить шепотом я всю дорогу орал сатирические стишки, которые разные театральные актеры занесли на фронт. Так, комическому «фрицу» приписывались слова песенки, которые мы превратили в свой

иронический гимн:

Хоть в политике я лапоть,
Но пора как будто драпать…

Война, состоявшая из дневной работы нашей батареи, а потом быстрого свертывания и ночного отступления, с тем чтобы на новом месте развернуться перед зарей, восстановить все линии связи и с рассветом опять начать работу, длилась до зимы. В декабре завернули неожиданно сильные морозы (вообще, годы войны были отмечены исключительно жестокими зимами, как, по словам местных жителей, давно уже прежде не было). Для меня война как-то неотрывно связалась с дождливой осенью, пушками и машинами, застрявшими до осей в черноземе, бесконечным их оттуда вытаскиванием, и жестокими зимними морозами.

Вообще (это не только мое чувство, я его проверял на других) основное внутреннее состояние — желание, «чтоб она к чертовой бабушке кончилась», — жажда конца. Зимой ждешь, пока кончатся морозы, трешь уши, затыкаешь лопнувшие ботинки (в сорок третьем году нам дали американские ботинки, они были как железные, до конца войны им сносу не было, но ноги они стирали до крови), зато немецкие танки и самолеты на своем эрзац-бензине наших морозов не выдерживали. Летом тепло, благодать, можно и переодеться, и вшей побить, урвать время постирать, а главное — вообще не мерзнешь. Да и спать можно не только в хате, а где-нибудь на стожке соломы. Но зато с утра до вечера по небу ползают «юнкерсы» (87 и 88). В полной мере сказывается превосходство противника в танках, и солдаты матерят изо всех сил ясное небо и хорошую погоду. Ждут осени и зимы, для того чтобы, растирая руки и танцуя, чтобы согреть ноги, проклинать зиму. Зимой сорок второго года наша станция называлась «Сосна». Помню постоянный вопрос по линии: «Сосна, сосна, скоро ли придет вторая весна?» Днем ждем ночи, ночью ждем дня. Летом ждем зимы, зимой лета. Это — закон фронта.

Светлая сторона. На фронте не так страшно, как кажется, когда описываешь или читаешь о нем в книгах. Вообще лучший способ избавиться от страха — это погрузиться в то, что этот страх вызывает. Если боишься передовой, чтобы избавиться от мучительного чувства, поезжай на передовую. Мы все были затерроризированы постоянной угрозой окружения. Но вряд ли кто-нибудь поверит, какое облегчение охватывает, когда нечто происходит на самом деле, когда вместо того, чтобы ждать и чувствовать, приходится действовать. И окружения не так страшны, как страшно их ожидание и рассказы о них. Да и война

не так страшна, как когда ожидаешь или вспоминаешь о ней на дистанции. Погружение в нее — лучшее лекарство от страха. Поэтому мне приходилось сталкиваться с тем, как люди, зацепившиеся в ближних тылах или штабах, становились там болезненно трусливы, шли на самострел, что очень часто означало расстрел, лишь бы не попасть на фронт. Но я абсолютно убежден, что они были нормальные, а совсем не болезненно трусливые люди. И если бы судьба бросила их сразу в настоящую переделку, познакомила бы их с войной прежде, чем они «успели испугаться», то они никогда бы не «заболели». Пишу «заболели», ибо это настоящая болезнь, я видел много людей, действительно больных. В холодную воду надо прыгать сразу, а не раздумывать на берегу.

Мне и вообще молодым ребятам нашего полка очень повезло тем, что мы в первые же дни попали туда, где казалось страшнее всего. И убедились, что по сути дела страх определяется нашим воображением и отношением реальности и привычки. В дальнейшем, когда я уже был опытным сержантом и к нам начали поступать «молодые» из тыла (это было уже в конце войны), я регулярно брал одного из них и шел туда, где казалось наименее приятно быть. Это необходимо для того, чтобы убедить человека, что страх рождается не объективными условиями (величиной опасности), а нашим к ним отношением. (Кстати, это прекрасно демонстрируют фильмы ужасов. Если дешевые фильмы порождают страх зрителя чудовищными кадрами, то Хичкок блестяще показал, что любой предмет, бытовой и безопасный, можно снять так, что зритель окажется на краю инфаркта от ужаса.)

Мы отходили к Дону (лето сорок второго года). Немцы ночью не двигались, мы пользовались этим и за ночь пешком успевали оторваться от передовых немецких частей, перемещающихся на мотоциклах и бронетранспортерах, километров на тридцать.

Ноги были уже абсолютно сбиты. И когда после короткой стоянки встаешь, кажется, что легче подохнуть, чем сделать хотя бы один шаг. А ребята уже уходят. Заставляешь себя сделать первый, второй, третий шаг — болят. Стерты подошвы, пальцы ног. Невозможно разогнуть колени. И первые шаги все делают так, что, глядя на других, сам подыхаешь со смеху. Очень больно от присохших к ногам стертых портянок. Вообще, разуваться уже перестали. Потому что ясно, что потом обуться будет невозможно и придется идти босиком. А босиком далеко не уйдешь. Так тянешься приблизительно первый километр, а потом ноги расходятся, портянки как-то более мягко укладываются в сапогах. Первый час — короткий отдых — второй… а к утру, глядишь, и

намотаем километров тридцать.

Периодически над нами пролетает «рама» — немецкий разведывательный двухмоторный самолет «хейнкель», названный так потому, что у него между крыльями и хвостовым оперением фюзеляж раздваивается. Покружит и улетит. Мы острим: «Ну, сфотографировала, надо запросить карточку, домой послать» — или же: «В немецком штабе заметят, что сегодня небриты». По «раме» мы дружно стреляем, но она не обращает на это ровно никакого внимания. После ее ухода жди «юнкерсов». Так оно всегда и бывает. Сначала мы слышим гудение, а потом появляются бомбардировщики — не очень много, как правило три, иногда шесть, в зависимости от того, идем мы маленькой группой или толпой. Это «Юнкерс-87» — пикирующий одномоторный, очень хороший самолет, пикирует прямо вертикально со страшным ревом и очень точно бросает бомбы (что нас совершенно не радует).

Еще издали, но уже явно нас увидя и решив, что мы — цель, достойная внимания, «юнкерсы» из треугольного построения вытягиваются в линию. Дальше происходит прекрасно нам известная своим строгим, хорошо соблюдаемым ритуалом процедура, очень напоминающая поведение хищных животных или насекомых. Пока «юнкерсы» летят треугольником, можно быть спокойными — они направляются куда-то в другое место. Но вот они вытянулись в змейку и заходят в круг, центр которого приходится немного впереди нас. Значит, к нам в гости пришли. Мы сбегаем с дороги врассыпную и прижимаемся к земле. Земля — наша основная защита. А «юнкерсы» змейкой направляются к нам. Вот первый оторвался, резко повернул носом к земле и почти вертикально, с красотой точного расчета падает на нас. Вот от него отделились бомбы — мы их прекрасно видим. Кажется, что падают абсолютно точно тебе в голову. Бомбы обгоняют самолет. Вокруг себя слышишь глухие разрывы, земля трясется. Летчики пикируют артистически, поворачиваются почти у самой земли — наши никогда так не пикируют. Самолет как гипнотизер приковывает взгляд, оторваться невозможно. Наверное, то же написали бы кролики о свидании с коброй.

Из покрывшего землю дыма, пласта пыли самолет с воем, доходящим до предела выносимого, вырывается вертикально вверх. Подымаясь, он успевает еще обдать нас пулеметным огнем или огнем из авиационной пушки. Но свист пуль не слышен, потому что с воем падает следующий. В эти минуты отключаешься, чувства страха не испытываешь, не испытываешь вообще никакого чувства — вероятно, то же чувствовали лежащие под нами камни. Наконец последний самолет отбомбился, и они

улетают. Мы подымаемся.

Я всегда удивлялся низкой эффективности этих налетов. Конечно, по густым массам пехоты, по движущейся бронетехнике, по развернутым орудиям или танкам эти бомбовые удары были очень эффективны. Но по рассеявшимся отступающим частям армии, солдаты которой успевали прыгнуть в канаву, заскочить в какое-либо укрытие, эффективность ударов была низкая. Дым расходится. Мы, для ободрения себя и чтобы показать немцам, что тоже не лыком шиты, успеваем несколько раз выстрелить по самолету из карабина. Патронов было до черта, они валялись повсюду, и беречь их не приходилось. Но ни одного результата своей решительности мне увидать не пришлось. То ли я плохо рассчитывал упреждение, которое на такой малой высоте должно быть очень большим, то ли броня у «юнкерсов» была крепкая, но никаких неприятностей я немецкому вермахту этими своими выстрелами не доставил. Может быть, где-нибудь на каком-нибудь крыле и осталась царапина, но эффектного падения, подобного, например, описанному Твардовским в «Теркине», когда герой сбивает двухмоторный юнкерс, мне добиться не удалось. Но смысл этой стрельбы и был в другом: она очень подымает дух, перестаешь себя чувствовать кроликом, даешь выход энергии. В общем, вещь хорошая.

Мы движемся к Дону. От бомбежек, периодически появляющихся немецких танков мы разделились и идем на восток небольшими группами — два-три человека. Стараемся идти со своими, из своего полка, но практически уже растерялись. В степи во время бомбежки я встретился с солдатом из другого дивизиона нашего полка — донским казаком. Вскоре он подобрал в степи брошенную кем-то замученную лошадь и сел на нее. Лошадь, как и я, еле переставляла ноги, и мы с ней шли пешком, а он — верхом. Всю дорогу мы рассуждали, почему война для нас так неудачно складывается. Мой спутник выражал свою мысль приблизительно в следующих словах: «Ты, Юрка, не сердись, а евреи тут виноваты. Нет, ты не думай, я это не в фашистском духе и, знаешь, этих предубеждений у меня нету, но посуди сам. Вот немцы к войне готовились, а мы что — мы фестивали делали, кино лучшее в мире выпускали, Ойстрах на скрипочке пилил — и все евреи. Не, знаешь, у меня предрассудков нету, но лучше б было в это время не скрипочками заниматься». Я не разделял его взглядов и стремился ему объяснить, что идет война между фашизмом и антифашизмом, а антифашизм предполагает ренессанс — развитие искусства. На что он отвечал: «Вот и доренессансились, что немцы на Дону, туды-перетуды твой ренессанс!» Но, в общем, мы двигались дружно. Разошлись мы

только когда темной южной ночью вышли на Дон.

Темнота только сгущалась от горящих по берегу и в темноте каких-то барж, машин и еще всяческой ерунды, которую армия дотянула до Дона и тут бросила. Мы подошли к берегу, нужно было решиться, что делать дальше, никакой переправы не было, но по берегу ходили отдельные растерявшиеся солдаты. Пробегавший солдат сказал, что здесь недалеко полузатопленная баржа и в ней сахар и водка и что ребята там пьют как муравьи. Мой напарник сказал, что пойдет выпьет и наберет с собой. Я решил переправиться, пока еще темно.

Как я это сделаю, мне было абсолютно неясно — плавать я не умел и не умею{13}. Шагая по топкому песку на самом берегу Дона, я увидел две черные фигуры в плащах, закрывающих знаки различия (но плащи были командирские), и услышал отрывок разговора: речь шла о необходимости переправить через Дон лошадей. Один из говорящих докладывал, что нашел крепкую лодку и парня, который имеет небольшой опыт: он будет держать лошадь под уздцы, а она будет плыть, надо только найти опытного гребца. Меня захватила волна нахальства. Я вышел из темноты и подошел к ним со словами: «Гребца ищете? Вот он я». Вид мой, кажется, не внушил большого доверия тому, кто был старше чином. «Смотри, — сказал он, для убедительности прибавив несколько слов из военного красноречия, — сам утонешь, так мне… не жалко, а ты мне лошадей не утопи». Но меня уже понесло. Я сказал: «Не пугайте меня, дело привычное, на море вырос…» Мы отправились. Я на веслах, а другой солдат брал лошадь под уздцы, садился на корму, мы отталкивали лодку, лошадь, брыкаясь, заходила в воду, и я начинал грести. Сначала я крутился — одна рука обгоняла другую — гребец я был никудышний. Но постепенно начало получаться. Лошадь, попытавшаяся влезть в лодку, получила по морде и поплыла. Второй раз было легче. Не знаю, сколько раз я проездил, но потом я сказал: «Амба, ребята, еще раз отвезу, и хватит, ищите другого».

Мы переплыли. Я вылез из лодки и пошел с чувством переходящей все пределы усталости и ожидая, что здесь, на берегу, я сейчас натолкнусь на прочную нашу оборону. Там я получу данные о дальнейшем маршруте. Никакой обороны не было. По этому берегу, как и по тому, бродили отдельные солдаты. Куда идти — было совершенно непонятно. Я лег на мокрый береговой песок и уснул, кажется, прежде, чем успел опустить голову. Сколько я проспал — не знаю. Потом я встал и пошел на восток, надеясь, что все-таки на какую-то оборону натолкнусь. Не может же быть, что фронт совершенно голый.

Дон в этом месте течет несколькими то сливающимися, то

расходящимися потоками. У меня не было сил искать какие-либо места перехода. Я шел по прямой вброд, один за другим преодолевая довольно глубокие параллельные рукава. Было совершенно пустынно. Сил не было абсолютно, но я нашел способ их поддерживать: я шел и стрелял трассирующими патронами в небо, один за другим. Это каким-то странным образом позволяло пересилить чувство потерянности. При этом я во весь голос дико выкрикивал самые непечатные ругательства. Смесь выстрелов и моей дикой ругани странным образом поддерживала. Наконец, я перешел последний приток, бухнулся на землю и снова тут же уснул. Переправа через Дон была закончена.

Летом 1942 года фронт относительно стабилизировался. Нас пополнили и направили в район Моздока (Чечено-Ингушетия). Небольшой городок Малгобек, расположенный прямо на Тереке, находился непосредственно на линии фронта. По ту сторону реки, где было казачье население, расположился передний край немцев. Мы удерживали южный берег, но слово «удерживали» здесь можно употребить только метафорически: пехоты у нас почти не было. Наши пушки, насколько это позволял ограниченный запас снарядов, должны были одновременно выполнять свою прямую задачу — подавлять артиллерию противника — и страховать переправу, к чему они были мало приспособлены.

В ингушских домах прямо на берегу (население убежало в горы, и деревня была совершенно пустой) мы устроили ПНП (передовой наблюдательный пункт) и ожидали со дня на день начала новой волны немецкого наступления. Используя колоритные средства солдатского языка, мы обсуждали, что будем в этом случае делать, имея всего пять снарядов. Противник, видимо, даже не подозревал, сколь скудны были наши средства, и усиленно накапливал резервы (мы это прекрасно видели), готовясь к прорыву. Ему, видимо, и в голову не могло прийти, что ему противостоит на этом участке лишь дивизион артиллерии почти без снарядов, одна минометная батарея и какие-то ничтожные, наскоро собранные и плохо оснащенные отряды, составленные из самой разной публики, включая поваров, штабных писарей. Когда я — не без иронии — спросил командовавшего ими старшего лейтенанта: «А что это за род войск?» — он ответил изысканным матом опытного фронтовика, и мы оба покатились со смеху.

На противоположном берегу, прямо против нас, был расположен немецкий наблюдательный пункт и штаб. Мы прекрасно видели все, что там делается, и могли пересчитать по пальцам мотоциклы, которые непрерывно подъезжали и

откатывали. Там шла оживленная штабная и наблюдательная работа, но снарядов у нас было так мало, что строго было приказано: стрелять только если противник начнет переправу. А наше молчание вдохновляло тот берег.

Однажды (жара стояла уже настоящая) мы увидели, что часовой, охранявший вход в штаб, стоит на посту совершенно голый, в чем мать родила, только в сапогах и с автоматом на шее. Он не только защищался этим от жары, но и явно находил удовольствие в том, какое впечатление должен был производить его вид на нас. Стоя анфас к нашему пункту, он хохотал и хлопал себя по животу. Наш лейтенант не выдержал такого унижения и выпросил в штабе три снаряда: «Ну хоть припугнуть немножко, чтоб штаны надел», — упрашивал он комбата и получил ответ: «Ну ладно, три штуки дай». Тремя снарядами пристрелять орудие, даже если раньше пристрелка уже была, почти невозможно — ведь то ветер, а то орудие с каждым выстрелом пусть незначительно, но оседает, особенно на нетвердой прибрежной почве. Всем этим можно было пренебречь при обычной, массированной стрельбе. Это было бы просто незаметно. Но здесь работа была филигранная и требовала предельной точности, Наше орудие, выпустив три снаряда, конечно, не принесло заречному соседу никакого вреда, но намек он все-таки понял и штаны надел.

Вообще, отношение к обнаженному телу у нас и в немецкой армии было совершенно различным. Причем здесь явно сказывалась разница между европейским и восточным взглядом на этот вопрос. Немцы не только не стыдились (все наши наблюдения шли через линию фронта, потому мое мнение нуждается в корректировке) расстегнутости, обнаженного тела, но даже, видимо, находили в этом особый стиль. Они охотно разъезжали по фронту голые на мотоциклах, на немецких воинственных плакатах фронтовой немецкий офицер всегда изображался в расстегнутой на груди форме и с закатанными рукавами (вероятно, в немецкой армии все это воспринималось как «марциальный шик»). У нас было принято стыдиться своего тела (я не помню, чтоб кто-нибудь из нас, особенно из крестьянских ребят, раздевался для того, чтобы загорать). Если в жару на работе мы позволяли себе вольность, это могло быть до пояса голое тело, но при обязательных штанах и сапогах.

Зато, замечу, зимой мы всегда ходили в шапках и европейский шик мужчины — ходить на морозе без шапки — нам был совершенно не знаком. Когда я много лет спустя (это было в Норвегии) заметил своему уже немолодому другу, ходившему на морозе с обнаженной головой, не холодно ли ему без шапки, то

получил ответ: «Но это же так молодит». Замечу, между прочим, что в России покрытая даже в жару голова мальчишки тоже имеет свой шик, но противоположный — она взрослит. Оценка может меняться, но принадлежность головного убора к семиотике возраста сохраняется.

Как вшей выводить

В «Василии Теркине» у Твардовского есть такой эпизод. Старик, который участвовал в первой мировой войне, разговаривает с Теркиным и спрашивает:

> А скажи, простая штука
> Есть у вас?
> — Какая?
> — Вошь.

На что Теркин, приосанившись, отвечает: «Частично есть»{14}. На это участник первой мировой войны отвечает Теркину, что тот настоящий солдат. Темы этой не обошел никто, кто относительно правдиво писал о войне, от Барбюса до Гашека{15}. Вошь — частично запрещенная тема, она касается «той» стороны военного быта. До войны я знал о вшах только по литературным памятникам или же по энтомологическим исследованиям.

Мы отходили — был второй месяц войны, Но на Южном фронте было еще очень жарко. Однажды я почувствовал совершенно непонятный раздражающий зуд. Мы стояли в лесопосадке в степи и ждали ночи, чтобы выйти из укрытия от самолетов и снова начать отступление на восток. Я отошел поглубже в лесопосадку и, скинув рубаху, содрогнулся от отвращения.

Энтомология всегда была предметом моей любви, это чувство осталось даже после того, как я отказался от идеи самому сделаться исследователем насекомых. Особенно привлекали меня прямокрылые и сетчатокрылые, а о жесткокрылых я собирался писать исследование, и мне до сих пор жалко, что я его не написал. Но к паразитам, и среди них особенно к вшам, у меня было какое-то физиологическое отвращение. Увидев у себя на рубашке крупную белую вошь, я в прямом — неметафорическом — смысле слова содрогнулся и еле сдержал рвоту. Действовал я решительно, в соответствии с обстановкой. Я развел костер, поставил на него ведро с водой, разделся догола и все, кроме сапог и документов, запихал в ведро. К счастью, этот суп успел хорошенько свариться, прежде чем нам объявили марш. Я наскоро все выжал и, мокрый до нитки, отправился догонять взвод. Таково было первое впечатление.

Однако острота его скоро притупилась, и с постоянным

появлением вшей и с постоянной необходимостью с ними бороться пришлось примириться. К счастью, в конце сорок первого или в начале сорок второго (не помню точно) было найдено верное средство.

Немцы тоже страдали от вшей и боролись с ними, осыпаясь разными химическими порошками. Но средства эти действовали плохо. Противник сильно страдал от насекомых, видимо совершенно незнакомых ему в нормальном быту, и так до конца войны действенных средств не умел найти. В результате, когда пришло время наступления, мы никогда, даже когда нужно было спрятаться от обстрела или мороза, в немецких землянках не жили: залезть туда означало наверняка набраться насекомых. Наша пехота, которая, конечно, не могла на передовой устроить даже самой элементарной вошебойки, тоже очень страдала от вшей. Но артиллерия и пехота второй линии практически к сорок второму году от них избавились. Не знаю, кто был тот гений, который изобрел простое и верное средство, но я бы ему поставил памятник (пишу это без всякой иронии).

Средство было такое. Найти на фронте железную бочку из-под горючего не представляло никакого труда. Они валялись рядом с разбитой и обгорелой техникой и другим фронтовым мусором. Их была масса. Из них делали самое элементарное устройство: брали бочку, выжигали или вымывали из нее остатки содержимого (мазута, смазочного масла, горючего). После этого аккуратно выбивали одно дно, сохраняя выбитую железную основу. Потом вырезались два куска дерева точно по диаметру бочки, они забивались в нее крестообразно на такой высоте, чтобы положенная на них амуниция не касалась дна. После этого на образовавшийся крест вешали одежду, подлежавшую дезинсекции. Дно немножко поливали водой и железную крышку, обмотав для прочности плащ-палаткой, заколачивали сверху. После этого бочка ставилась на камни и под ней разжигался костер. Через полчаса или чуть больше раскаленную бочку открывали, Из нее вырывался сжатый пар, а на крестовине висело горячее, иногда чуть тлеющее, если касалось стенок, белье. Никакая вошь такого эксперимента выдержать не могла. Горячее скрипящее белье было очень приятно надеть. Правда, отстирать сгоревшую грязь уже было невозможно, но это нас совершенно не тревожило. Бочки были наше спасение.

Вши органически входили не только в быт, но и во фронтовой фольклор. Это была тема бесконечных шуток, изощренно-замысловатых ругательств, они становились героями многих происшествий. Вот одно из них.

В нашей батарее командиром взвода управления был

инженер с Донбасса, милый и интеллигентный человек Иващенко (у огневиков был свой Иващенко — тоже лейтенант, страшно противный). Иващенко попал в армию прямо с «гражданки» во время отступления и сохранил многие черты штатского человека, но был хороший артиллерист, веселый, компанейский парень. Вот с ним и случилась история, которую, кстати о вшах, здесь следует вспомнить.

Это было в сорок третьем году в северном Донбассе. На фронте было относительное затишье, наблюдательный пункт был километрах в двух от передовой, и мы решили воспользоваться этим, чтобы избавиться от вшей. Для этого мы с той стороны наблюдательного пункта, которая была закрыта от передовой стеной сгоревшего дома, устроили «бочку». Первым повесил свою гимнастерку, брюки и белье командир батареи, а когда содержимое прокалилось, в бочку повесил свое добро командир взвода Иващенко. Человек непривычный, городской и культурный, он страшно не выносил вшей. Раздевшись догола, оставив только сапоги, он все повесил в бочку, а нам только приговаривал: «Жарь их, сволочей, жарь!» Мы и раскалили бочку. Но, видимо, искры подымались слишком высоко, и вдруг невдалеке упал сначала один снаряд, другой — немцы явно делали пристрелку, а затем начался довольно густой обстрел. Мы залезли в ровик. Бедный Иващенко влез туда как был — в чем мать родила, в сапогах и с партбилетом, который он догадался вынуть из кармана, в руках. Он выглядел не очень торжественно, и мы, не стесняясь, иронизировали над положением своего командира. Когда обстрел кончился и можно было вылезти, Иващенко бросился к бочке: увы, все сгорело. На дне бочки лежал только расплавившийся гвардейский знак, который лейтенант забыл свинтить. Иващенко сидел в сапогах, голый, с партбилетом и гвардейским знаком в руках и, страшно злой, материл немцев, войну и нас, как он считал, неправильно повесивших белье.

Пришлось звонить на батарею, чтобы немедленно принесли кальсоны, штаны и другое имущество лейтенанту. Но когда по линии пошло, что с наблюдательного пункта для Иващенко требуют кальсоны, это вызвало новую волну солдатских шуток. К чести лейтенанта следует сказать, что когда, наконец, имущество было принесено и с ним от старшины бутыль водки, то настроение его исправилось и он выражал громко радость, что не сгорел орден Красной Звезды.

Случай этот имеет смысл записать, потому что смешных и веселых эпизодов в самых тяжелых условиях всегда было много. Скажу, что на фронте мы смеялись гораздо больше, чем потом нам приходилось в мирной жизни, например во время разгрома

университета в эпоху борьбы с космополитизмом.

* * *

Ранней весной сорок четвертого года фронт находился на Западной Украине и врезался в расположение противника узким длинным клином. На нашем участке он образовал своеобразный язык длиной около двадцати километров, но шириной всего от двухсот метров до километра. Наблюдательный пункт был вынесен на самое его острие, а пушки находились у основания. Противник простреливал нас с трех сторон, и практически непростреливаемого места в нашем пространстве не было. К этому нужно прибавить, что ранняя весна растопила снег, а почва оттаяла только местами, так что ходить приходилось в воде то по щиколотку, то по колено, скользя по льду под водой или же погружаясь в клейкую массу чернозема. Каждой ногой мы вытаскивали из земли пуд жидкой черной клейкой массы. Бегать по такому пространству было абсолютно невозможно, ходить исключительно трудно. А нам, связистам, ходить приходилось непрерывно. Противник вел довольно плотный обстрел этого пространства, столбы воды, грязи и куски льда вставали со всех сторон, мокрые шинели висели на плечах как пудовые, а морды были настолько грязные, что без хохота смотреть друг на друга было невозможно.

Я шел по линии, где-то пересеченной осколком, продвигался через эту кашу чернозема, воды и льда и попал под густой, сконцентрированный обстрел. Не помню, какими словами я выражал свои чувства, но могу представить, что это была та лексика, которую лингвисты иногда именуют экспрессивной. Пришлось лечь в грязь на какую-то корягу. Осколки и комья мокрой грязи шлепались вокруг.

В это время по воде и грязи, подымая фонтаны, прямо на меня выбежал большой, весь залепленный грязью, заяц. Ему не везло, как и мне: он влево — и мина падает влево, он в другую сторону — и туда проклятая. Видимо, совершенно одурев, он, брызгая водой и грязью, побежал прямо на меня и встал, почти упершись носом в мой нос (очень может быть, что глаза у меня были скошены, как у него). Мы в недоумении уставились друг на друга.

Помню, меня поразила мысль, что заяц, очевидно, думает то же самое, что и я: «Какая гора железа направлена сюда с единственной целью меня ухлопать». Эта же мысль мелькала и у меня, правда с некоторым оттенком гордости, — испытывал ли

заяц гордость, сказать не могу.

Одна мина упала совсем рядом и совершенно завалила нас водой и грязью. Заяц, видимо решив, что это уж слишком, бросился по воде в сторону. Я подумал, что он, пожалуй, прав и это место лучше покинуть, потому что оно, видимо, противнику понравилось. Бежать было невозможно, я побрел. Обернувшись невзначай, я увидел, что заяц тоже бредет, но вприпрыжку, с трудом вытягивая ноги из грязи (думаю, зоологи никогда не видели зайца в таком виде). Я подмигнул ему, и мне показалось, что он улыбнулся. Больше мы не встречались.

* * *

Вряд ли стоит подробно, неделю за неделей, месяц за месяцем, описывать события войны. Мне они интересны, потому что касаются меня. Исторической ценности они не имеют, не потому, что исторические ценности порождаются участием в событиях «великих людей», а потому, что они порождаются литературным талантом того, кто описывает. Толстой писал, что случай, когда нищий музыкант в швейцарском городе Люцерне в течение получаса играл слушавшим его богатым англичанам и не получил ни от кого из них ни гроша, — случай, достойный включения в перечень событий мировой истории. Поэтому величина события — производная от того, что произошло, способности наблюдателя осмыслить и передать это событие и культурного кода, которым пользуется получающий информацию. Поскольку я не обладаю необходимой способностью показать в событии его причастность истории, дальнейшие рассказы о войне можно закончить.

Писать о войне трудно, потому что, что такое война, знают только те, кто никогда на ней не был. Так же, как описывать огромное пространство, у которого нет четких границ и нет внутреннего единства. Одна война зимой, другая — летом. Одна во время отступления, другая — во время обороны и наступления; одна днем, другая ночью. Одна в пехоте, другая в артиллерии, третья в авиации. Одна у солдата, другая у приехавшего на фронт журналиста.

Журналист может провести многие дни на войне, быть на передовой или в тылу противника, может проявлять большую смелость и *жить совсем как*, но все-таки у него совсем другая война. Потому что в конечном счете он обязательно уходит. Он временно на фронте. Солдат на фронте постоянно. Я знаю по личному опыту войну в таких ее лицах: в сорок первом и сорок

втором годах на Южном фронте, в сорок третьем на Южном и Юго-западном, затем на Западном, а в период наступления — на Прибалтийском, в Польше и Германии. Сначала, самые первые дни, на Днестре, затем пешим ходом — наша батарейная полуторка сгорела в первые же недели войны, в дальнейшем мы периодически захватывали какие-то машины, но скоро их теряли. Кроме того, батарейный телефонист — а я был именно им — всегда пешеход. Пока он разматывает или сматывает свою катушку, машины и трактора успевают уйти вперед в случае наступления или, что еще менее приятно, назад в случае драпа. Навалив на себя катушки и аппарат (в нашей практике, как правило, две катушки около восьми килограммов в каждой), телефонист идет пешком, догоняет своих, наконец находит в том беспорядке, который образуется при ночном перемещении армии.

Наш 437-й артиллерийский полк с командиром подполковником К. Дольстом считался ударным, пользовался по всему фронту славой, но для нас это оборачивалось тем, что нами все время затыкали дыры. Это приводило к постоянным перебрасываниям с места на место и даже с фронта на фронт, то есть к дополнительным тяготам.

Фронтовая жизнь значительно облегчается, когда положение стабилизируется и быт принимает привычные формы. Конечно, и в этих условиях регулярно происходят бомбежки и обстрелы и мы бегаем по линии, соединяя кабель, проваливаемся под лед и испытываем все прочие фронтовые удовольствия. Но это все-таки регулярная жизнь: известно, где можно обогреться, когда подъедет кухня, если на огневой, или пойдет с термосом посланный на кухню и принесет хоть замерзший, но обед.

Совершенно иная жизнь при передвижении. Отступление и наступление имеют совершенно различные тяготы. Отступление несравнимо хуже наступления, но потери при этом несравнимо меньше. Вернее, они имеют иной характер. При отступлении может «потеряться» целая дивизия. Мы сами неоднократно терялись, то всем полком, то батареей, а то и в одиночку. Ночной драп мучителен бестолковостью, беспорядком, неожиданными натыканиями на неприятеля, неожиданными потерями, непониманием, что надо делать, и полным незнанием ситуации.

Наступление, как правило, проходит в обстановке меньшей бестолковости, хотя и тут ее достаточно. Столкновения с неприятелем здесь, как правило, происходят днем. Но потери при наступлении значительно большие. Вообще, наступать мы не умели и так и не научились. В последние месяцы войны, когда, казалось бы, должно было быть легче (и немец был уже не тот, хотя авиация его продолжала господствовать в воздухе, но это

была уже совсем не та авиация — три, девять самолетов), потери мы продолжали нести очень большие, и главное, «дуром».

Дольст был хороший артиллерист и предпочитал стрелять с огневых позиций, а не прямой наводкой. Летом 1943 года на фронте среди командования вошло в обиход то, что можно назвать модой, — вытягивать тяжелые пушки на прямую наводку. Отчасти это было необходимо в случае, если приходилось прорываться через очень укрепленные, бронированные, многоэтажные немецкие линии обороны. Но в этой тенденции была и другая сторона: среди командующих дивизиями и армиями к этому времени все более развивалась погоня за орденами. А это требовало эффектных прорывов и совершенно чуждой для частей, переживших на своей шкуре большое отступление сорок первого — сорок второго годов, тенденции не щадить людей. Ущерб быстро пополнялся новыми тыловыми частями, молодыми солдатами. Низкую подготовку наспех пополненных полков с успехом компенсировали количеством и огромными жертвами. Страшные потери часто были очевидно лишними и подсказаны были погоней за эффектными фразами в рапортах.

Именно таков был дух нашего нового командира бригады Пономаренко. Во время наступления он с начальником артиллерии армии и каким-то писателем, который, видимо, переживал восторг от того, что испытывает опасности передовой, сидел в блиндаже. У него был немецкий графин для водки, где к дну был приделан стеклянный петушок. Они выдумали игру: «топить петуха» (заливают бутылку водкой) — «спасать петуха» (выпивают эту водку). С утра пьяный, он звонил в те или иные наступающие части. В том красноречии, которое передать на бумаге затруднительно, но которое мне по телефону регулярно приходилось слышать (он даже привык узнавать меня по голосу), кричал спьяна: «Это ты, Лотман (называть фамилии было не положено), так-так-так! Скажи своим (речь шла о начальнике штаба дивизиона Пастушенко), чтобы они так-так-так высотку заняли так-так-так-так к следующему звонку (то есть к следующему „петушку“)». Или, разбрызгивая слюну, пьяным голосом: «Пастушенко, Пастушенко, поднимай дивизион в наступление, Одера больше не будет!» (Это многократно повторяемое выражение означало, что нельзя пропускать такую возможность получить Героя Советского Союза или по крайней мере хороший орден).

Начальник штаба дивизиона, умный человек и хороший артиллерист, находившийся в районе, густо обстреливаемом минометами противника, отвечал: «Слушаюсь» — и клал трубку с

хорошим матом и словами: «Сам полезь». А потом докладывал о том, что приступил к атаке, встретил сильный огонь противника, залег, а к вечеру сообщал: «Отступили на исходный рубеж, потери средние».

Читатель (если он когда-нибудь будет) может не понять ситуации: командир дивизиона понимал, что, потеряв своих прекрасно обученных солдат ради орденов пьяного дурака, он обессилит батарею или дивизион. Им руководили вовсе не соображения гуманности или чего-то еще, о чем тогда не думали, а практический разум, который заставлял человека беречь свое оружие, поддерживать подразделение в боевой готовности, кормить своих солдат не из жалости, а чтобы они могли работать. Все эти оттенки чувств передаются средствами русского мата, который прекрасно выражает их и превосходно понимается слушателями.

Но были и такие командиры, которые по неопытности или из самолюбия и жажды наград действительно бросали свои подразделения в ненужные и безнадежные атаки. И тогда к формуле «отошли на исходные» — теперь уже реальной — прибавляли: «двадцать, тридцать и т. д. палочек упали» — так зашифровывались потери, потери людьми, которые были очень велики.

Кому-то из любителей орденов понравилась фраза, которую использовал — не помню в какой газетке — лихой журналист. Происхождение ее таково. В уставных документах есть фраза: «Артиллерия преследует врага огнем и колесами». Как это часто бывает, риторика превратилась в правило поведения. Выражение понравилось. Конечно, артиллерия действительно преследует огнем и колесами, но это означает, что она имеет для каждого рода батарей свои формы не отрываться от пехоты. Например, для наших пушек это могла быть и прямая наводка, и стрельба на пять километров. Но для эффектного донесения, для того чтобы изумить какого-либо заехавшего журналиста, а главное, чтобы получить награду, выгодно было представить это следующим образом: охваченные энтузиазмом артиллеристы рвутся в бой, колесами не отрываясь от передовых пехотных частей. <…> Выгоняли пушки на расстояния, слишком для них близкие, практически лишая их эффективности (например, за время, которое требуется тяжелой артиллерии, чтобы сделать выстрел, танк может сделать их десяток). Поэтому непосредственная дуэль тяжелой батареи с выдвинутыми на нее танками обычно имеет один и тот же результат, который мы неоднократно испытывали на личном опыте: батарея успевает уничтожить один-два танка, но ценою утраты всех орудий и личного состава. Одним из

результатов было то, что артиллерия, неся чудовищные потери, теряла квалифицированных, подготовленных солдат, второпях заполнялась молодыми, в результате терялся навык быстрой и точной работы и самого главного в артиллерии — слаженности всей батареи в некое единое живое существо. Качество артиллерии понижалось, потери росли, зато с каждым прорывом и продвижением вперед росло число генералов, получавших медали героев и ордена.

Из-за больших потерь происходило следующее: армия продвигалась, казалось бы получала большой и, по сути дела, бесценный опыт и, следовательно, должна была повышать свои боевые качества, но, в силу огромных потерь и пополнения совершенно неопытными людьми, а также превратившейся к концу войны в настоящую болезнь погони за орденами, боевые качества частей и дисциплина в них понижались.

С наступлением стали развиваться совершенно неслыханные прежде грабежи, часто поощряемые штабными офицерами, которым было на чем перевозить награбленное. У нас тогда с отвратительным для нас шиком распространилось и даже сделалось модным употреблявшееся в немецкой армии выражение для обозначения грабежа «организовать»; например, «организовать себе радиоприемник», «организовать новые сапоги». С переходом на территорию Германии это выражение вошло в моду и означало войти в дом и забрать себе те или иные вещи. С полной ответственностью могу сказать, что в нашем полку этого не было.

Между тем это была тоже выдумка какого-то из тыловых политиканов — грабежи были негласным образом узаконены. Не успели мы перейти границу Германии, как нам сообщили, что мы имеем право отправлять посылки домой. Были введены нормы (количественные) для рядовых и сержантов (кажется, шесть килограммов, но не помню, на какой срок), а высокие чины быстро перестали стесняться всякими нормами. Могу сознаться, что — не помню, на какой станции — мы захватили немецкий эшелон с продуктами и я послал домой в послеблокадный Ленинград положенные мне шесть килограммов сахарного песку. Это был мой единственный «трофей» (слово это стало общим термином для называния присвоенного имущества). Мои друзья посылали домой захваченные на складах сахар или какие-либо другие продукты, то есть то, что действительно можно было назвать военным трофеем.

В повальных грабежах мы не только не участвовали, но и открыто выражали к ним отвращение. Зато у нас была другая метода: после стрельбы на батарее остаются пустые медные

гильзы (для наших снарядов это были большие, в половину человеческого роста, металлические стаканы), Их надо было отправлять в тыл. Наши ребята забивали их трофейными продуктами или же барахлом из магазинов, и мне неоднократно приходилось слышать: «Пускай наши бабы порадуются, а то голыми ходят». Но при всех смягчающих обстоятельствах возможность грабежа, как бы его ни называли, действовала на армию разлагающе. Потом, когда фронтовая армия превратилась в оккупационную, грабежи не уменьшились, а скорее наоборот. Фронтовые солдаты демобилизовались, и части пополнялись совсем молодыми деревенскими парнями, которые совершенно шалели от возможностей, которые открывало перед ними, привыкшими к голоду и нищете, бесконтрольное положение оккупанта.

Однако воистину рыба тухнет с головы. То, что мог награбить (а теперь это уже было не присвоение сахарных мешков из немецких армейских запасов, а имущество гражданских людей), присвоить себе какой-нибудь солдат, совершенно несопоставимо было с возможностями генералов, которые пользовались ими достаточно широко. Не в оправдание могу сказать, что американская армия, с которой мы контактировали потом очень много, грабила не меньше, но с большим пониманием и разбором. Для нас было диковинкой все, они умели выбирать действительно ценное.

Наш полк (преобразованный сначала в гвардейский, а затем многократно награждавшийся различными боевыми орденами и превращенный в бригаду, сохранив почти до самого конца войны свой дух и основной костяк командиров) закончил войну за два дня до того, как она кончилась официально, на Одере, встретившись с американцами. Мы вышли с двух сторон на берег. Посередине реки на длинном острове скопились эсэсовские части, которые предпочли сдаться американцам и до самой последней минуты отбивали атаки с нашей стороны.

Наступил вечер, и мы вдруг неожиданно поняли, что война кончилась. Это было странно — более точного слова найти не могу. Наверно, так себя чувствует младенец, когда он родился: привычной ситуации нет, а что делать — он не знает.

Выпить с американцами нам тогда не удалось — это случилось на несколько дней позже. Мы где-то достали очень слабого, кислого домашнего яблочного вина и на безлюдном и уже совершенно безопасном берегу в темноте его пили. И тут случилось нечто странное.

Общее настроение все эти годы, как я говорил, было бодрым. Бывала усталость, проклятья, иногда энергию и силу приходилось

поддерживать длинной и изощренной матерщиной (очень помогает). Вообще — никакой идиллии. Но это было нечто совсем иное по сравнению с тем, что случилось с нами сразу же после окончания войны. Стало почему-то очень грустно, В ряде фильмов, изображавших конец войны, на экране всегда появлялись кадры торжественной встречи фронтовиков с вынесшими все тяготы их девушками и семьями. Но между окончанием войны и даже первыми незначительными демобилизациями прошли месяцы. Это были самые тяжелые месяцы.

Мы стояли в чем-то вроде негустого лесочка. Нас не допекали занятиями (обычная мука солдата в небоевых условиях), мы были свободны. Мы даже могли, когда хотели, пойти в ближайшую немецкую деревню или в очень милый близлежащий городок. Но вдруг, и казалось без видимой причины, нас охватила гнетущая смертная тоска — не скука, а именно тоска. Мы пили по-мертвому и не пьянели. Приходилось вспоминать и давать себе отчет в том, что в эти годы старательно забывалось.

В соседнем полку был скучноватый пожилой человек из запасников, выполнявший отнюдь не уважаемую нами роль какого-то мелкого политработника. Он был немножко пьян. Подсел ко мне и, рыдая (до этого между нами не было никакой близости) и утирая локтем сопли, заговорил со мной на «ты». Начал рассказывать, что у них сожгли деревню, что дети у тетки, а где жена, он до сих пор не знает. А мне и самому было что вспомнить, хотя я этого ему не рассказывал (это было запрятано слишком глубоко).

Дело было в станице Орхонка на Кубани. В период, когда в сорок втором году Южный фронт подкатился непосредственно к Орджоникидзе — тогда еще не Владикавказу, — наш полк непосредственно прикрывал выход к городу. Если бы здесь не удалось задержать танковые колонны, к обеду Орджоникидзе пал бы. Накануне нас срочно сняли из-под Моздока. Мы развернули связь, и батареи только успели немного окопаться, как с первым утренним светом с немецкой стороны началась ураганная стрельба.

Для меня лично события развертывались естественным образом: связь была перебита. Я побежал по линии (проклятая судьба связиста — когда все поглубже затираются в ровики, он бегает по линии и связывает перебитые провода). Наш провод был переправлен через Орхонку — приток Терека, в том месте, где обычно бабы брали воду. Подбежав к Орхонке, я увидел то, что с тех пор сопровождает меня всю жизнь: женщина рано утром, конечно не зная, что за ночь фронт, который накануне был в

тридцати километрах, если не больше, пододвинулся и вышел прямо на улицы, пошла за водой к реке, взяв с собой мальчика лет трех-четырех. Разорвавшийся снаряд пробил ей висок, она лежала — я и сейчас это вижу — раскинув ноги, в задранной юбке, с небольшим расплывающимся красным пятном у виска. А рядом мальчик, ничего не понявший, тянул ее за руку. До сих пор для меня не решен вопрос, правильно ли я поступил: я думаю об этом постоянно и часто вижу эту сцену. У меня была перебита линия, и это означало, что батарея парализована. По интенсивности немецкого обстрела было ясно, что через несколько минут начнется массовая танковая атака, а батарея будет молчать. Мне надо было соединить провода, и я побежал по линии дальше. В ту минуту у меня не было даже никакого сомнения в том, что я должен делать.

Потом линию еще несколько раз перебивало осколками и я, подключая проверочный телефон, бежал то в ту, то в другую сторону, для того чтобы устранять новые повреждения. Когда артобстрел кончился и немецкие танки, не прорвавшись, откатились обратно, я побрел по линии назад к себе, совсем забыв про этот эпизод. Вдруг около нашего провода, в том самом месте, где я его завязал, я увидел лужу крови (потом мне женщины говорили, что они утащили ребенка в дом, а мать была, конечно, убита на месте). Не могу не сознаться, что тогда это не произвело на меня особенного впечатления. Как сказал М. М. Сперанский Г. С. Батенькову: «На погосте живучи, всех не оплачешь». Но вот в первую же пьяную ночь после окончания войны я все это увидел вновь. Это и многое другое. Не случайно мы пили вмертвую и было немало самоубийств. Их официально списывали по формуле «в пьяном виде», как позже списали самоубийство А. Фадеева, Но причина, конечно, была в другом. Пришло время расплачиваться за долги. Так же, как оно позже пришло и к Фадееву. (Замечу в скобках, что не могу не уважать Фадеева за то, что он оказался честным должником, А я нет.)

Пребывание в армии обрыдло до невыносимости, а демобилизация все еще была в каком-то далеком будущем. Желавшие поддержать дисциплину командиры уверяли, что нас совсем не демобилизуют, а переправят в Китай. Мы пили мертвую чашу.

Но выход неожиданно подвернулся. В нашем полку был лейтенант Толя Томашевич. Он был сын известной в московских интеллигентских кругах дамы, которая была вторым браком замужем за одним из наиболее высокопоставленных генералов, профессором Артиллерийской академии, дворянином, перешедшим в Красную Армию еще в Гражданскую войну. Сейчас

он был в полуопальном положении уважаемого, но устраненного от непосредственного командования офицера. Его пасынок Толя по совершенно пустяковой истории (будучи студентом перед войной, он издавал рукописную газетку под названием «Уря!») попал в лагерь. Когда началась война, отчим-генерал, учитель ряда молодых маршалов, сумел вытащить своего пасынка из лагеря и отправить на фронт. На фронте умный, смелый и чрезвычайно художественно одаренный Толя быстро дослужился до лейтенанта, нахватал орденов, а когда кончилась война, решил организовать фронтовой театр. Пользуясь поддержкой некоторых генералов, он получил разрешение и собрал вокруг себя человек пятьдесят очень талантливых ребят. Армия — как Ноев ковчег. В ней всякой твари по паре. Нашелся превосходный скрипач, несколько профессиональных аккордеонистов, замечательный жонглер. Его коронным номером было ходить по канату, держа на носу тяжелый стол; канат был натянут так, чтобы проходил над первым рядом, где сидел генералитет и штаб, и шик был в том, что он все время как бы ронял тяжелый стол с двумя тумбами и потом возвращал его в исходное положение. Как-то раз, когда он блестяще проделал свой номер и, наконец опустив стол, раскланивался, комбриг вскочил в бешенстве и закричал: «Пять суток ареста!»

В этом доморощенном театре я исполнял роль художника — писал декорации. Когда мы ставили какие-то сцены из античного театра и в глубине были установлены изготовленные мною декорации, изображающие античных богинь, то начальник политотдела, думая, что это мы выгребли из запасов немецкого театра в подвале, сказал: «А эту немецкую… — убрать немедленно». А когда я доложил, что это не немецкое, а я вчера рисовал, он, приоткрыв рот, сказал: «Это ты рисовал — ну, даешь!»

Так мы создавали очаг искусства в несколько необычной ситуации. Были и накладки. Толя картинно изображал заикание, и это был его коронный номер. Однажды он не учел, что аудитория и госпитале, куда нас привезли, — контуженые, из которых многие заикались. После блестяще проведенного номера его чуть не побили и ему пришлось прятаться.

Несмотря на все эти «веселости», переживания были очень тяжелые — мы все рвались домой и вместе с тем понимали, что мы отвыкли от той жизни, которая нас ждет, не имеем никакой профессии и едем в неизвестность.

Опасения наши, к сожалению, во многих случаях оправдались. Среди нас был ростовский парень — прирожденный артист, с великолепной трагической мимикой и каким-то от Бога

данным артистическим жестом. Еще в армии он пристрастился пить эфир и вскоре после демобилизации, как нам писали, умер.

Наконец пришла и демобилизация.

По пути я встретился с сыном дворничихи нашего дома. Он попал в плен, но, по счастью, когда фронт развалился, из пленных был призван в армию (это бывало очень редко, как правило, их ссылали сразу в лагеря) и демобилизовался как солдат. Мы приехали в Ленинград глубокой ночью, вагон остановили где-то на запасном пути, нас никто не встречал. Домой я не сообщал точного дня, потому что даты возвращения указать было невозможно, а волновать даром не хотел. Мы остановили первую же машину — это оказалась «скорая помощь». Деньги у нас были, и шофер за небольшую сумму согласился развезти нас, после того, как отвезет больного. Так в середине ночи я приехал домой. Дома все спали — меня не ждали. На другой день я поехал в университет.

Я восстановился в университете и с какой-то жадностью алкоголика принялся за работу. Из университета я бежал в Публичку и сидел там до самого закрытия. Это было совершенно ощутимое чувство счастья. Надо было определять семинар. Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому, а записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся.

Ничего не переживал я в жизни увлекательнее, чем эта тогдашняя работа над статьей «Карамзин в „Вестнике Европы“». Мне очень жаль, что работа так и не была полностью напечатана и значительная часть ее потом потерялась. Карамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. Я занимался поисками источников. Было совершенно несравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате Публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять. Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией на события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с

французского.

Эта оставшаяся неопубликованной статья — до сих пор у меня самая любимая.

Целые дни я проводил между полок фонда Публичной библиотеки. А между тем события развивались быстро и очень грозно. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Она подкралась для меня как-то незаметно. Сначала были нападки на Эйхенбаума. Но серьезность их как-то не доходила до моего сознания. Тем более что накануне был университетский юбилей, на котором Эйхенбаум получил орден. После первых статей в газетах, воспринимавшихся мной как нелепица, к которой не стоит серьезно относиться, я повторял себе слова из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли». И мне казалось, что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились.

Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался). Я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события развертывались очень быстро по заранее подготовленной программе.

А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело (во время проведения кампании из Пушкинского Дома в университет был прислан для «подкрепления» Бабкин, корректор, ставший профессором).

Подробности разгрома университета и Пушкинского Дома достаточно хорошо изложены в материалах, собранных К. Азадовским и изданных в соавторстве с Б. Ф. Егоровым{16}. Поэтому буду касаться только того, что задевало лично меня.

Пришло время распределения. Проходило оно так: комиссия собиралась в главном здании ночью (начинали работать обычно в двенадцатом часу). До этого мы стояли в коридоре и ожидали. Потом отворялась дверь (в ритуал входило, чтобы зала заседаний была густо накурена, поэтому, когда отворялась дверь, оттуда валил дым как из ада). Там сидели Бердников, Федя Абрамов (до этого он был партийный деятель и громила первый номер, потом — известный писатель{17}) и весь состав партбюро.

Меня вызвали, я зашел, на меня посмотрели, хотя они меня знали и я их знал как облупленных, и сказали: «Выйдите,

обождите, еще рано» (зачем они меня вызвали, я так и не понял). Был проделан обряд, напоминающий когда-то выдуманный Николаем I, когда приговоренных поляков прогоняли сквозь строй в определенном порядке, так что глава восстания проходил последним и до этого должен был видеть, как забивали до смерти всех его соратников. Наша процедура была менее торжественной, но в ней были свои «пригорки и ручейки». Ленинградских девочек из «комнатных» семей без каких-либо возражений направляли в сибирские деревни или на Дальний Восток. На все это я должен был, ожидая свою очередь, смотреть. Наконец, вызвали меня, посмотрели и почему-то заговорили со мной в третьем лице: «Он пусть придет в другой раз». Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации{18}, он, посмотрев мне своими ясными глазами в глаза, сказал отчетливо: «Она потерялась». Это была та цена, которую с меня взяли за открытое распределение.

Начался длительный период поисков работы. Протекал он по вполне стереотипному сценарию. Утром я отправлялся в одно из тех мест, где, как накануне я выяснил, есть вакантное место (как правило, это была школа). Директор принимал меня очень ласково, говорил, что место есть, и просил на следующий день принести заявление и заполнить анкету. Как ни странно, еще в пятидесятом году я сохранял то качество, которое, в зависимости от ориентации, можно назвать и наивностью, и глупостью. Смысл заполнения анкеты для меня, весь жизненный опыт которого был связан с войной, был совершенно неясен. Когда мой приятель, веселый циник Димка Молдавский (до войны мы с ним были на одном курсе, но он страдал пороком сердца и на фронт не попал; к этому времени он был уже аспирантом при Наумове и занимался Маяковским) при первой же встрече спросил меня: «Ты кем вернулся?» — я не понял вопроса. «Ну, с каким пятым параграфом, балда?» (Мать Димки была русской, и по паспорту он был записан русским.) После объяснения я решительно возмутился и послал его довольно далеко. Сама постановка вопроса мне казалась дикой.

Мое образование в этом вопросе завершил А. В. Западов — человек умный, насмешливый и цинический. Когда мы с ним однажды столкнулись на филфаке, я ему пожаловался на то, что места как бы есть, но все время повторяется одна и та же странная процедура: сначала подробная и многообещающая беседа, затем просьба заполнить анкету, предложение зайти через пару дней, а после этого какой-то странный взгляд в сторону и

одна и та же формула: «Знаете, к сожалению, это место у нас вчера отняли». Западов посмотрел на меня, как на идиота. Я давно не видел такого изумленного лица. «Не знаете, в чем дело?» — спросил он меня. «Не знаю». — «Знаете, сходите в зоомузей, им нужен человек с филологическим образованием, поговорите». Я отправился туда. Зайдя в кабинет к заместителю директора, толстому пожилому еврею, я сказал, что меня прислал Западов. Человек посмотрел на меня с нескрываемым возмущением: «Зачем он вас прислал? Я же ему объяснял, что у нас уже работают два еврея. Больше я взять не могу». Я повернулся и ушел. Через пару дней я встретился на улице с Западовым. «Поняли?» — «Понял», — сказал я. «Ну что ж, — сказал он, — дурень умом богатеет».

Однако запас послевоенного оптимизма (может быть, глупости?) был во мне настолько велик, что настроение у меня в этот момент было боевое и веселое. Я продолжал писать диссертацию (я написал большую статью о Пнине, которая нигде не была опубликована, хотя, как мне казалось, она имела смысл).

Кроме того, у меня завязались несколько неопределенные отношения с Зарой Григорьевной. Познакомились мы еще в бытность мою на четвертом курсе. Я в эту пору регулярно прирабатывал тем, что писал большие портреты вождей по клеточкам. То, что получалось, только отдаленно напоминало образцы, с которых я срисовывал (особенно вначале). Но это и не требовалось. Заказчики — как правило, это были майоры или полковники, руководившие военными клубами, — следили только за тем, чтобы все ордена были тщательно выписаны, и, убедившись, что по этой части все в порядке, решали, что можно вешать.

Между прочим, искусство писать портреты по клеточкам я освоил еще работая в нашем армейском клубе. Для того, чтобы представить, что такое сходство с военной точки зрения, расскажу следующий эпизод. После конца войны наша бригада стояла в Потсдаме. Желая уклониться от надоевшей до невозможности строевой подготовки и совершенно бессмысленных после окончания войны тренировок в развертывании огневых позиций, я, как уже говорилось, устроился художником в клуб. Моим напарником был мой близкий друг Хачик Галюмсрян — действительно талантливый художник и очень славный парень. С ним мы и освоили искусство рисования портретов по клеточкам.

Однажды нам сообщили, что в клубе будет собрание, на котором выступит кандидат в Верховный Совет от группы оккупационных войск, и что это — Абакумов. Имя это, пугавшее тогда даже самых смелых людей, мне ничего не сказало. В

повести Тынянова есть фраза, объясняющая, почему приговоренного к сечению поручика не ведут на эшафот, ставя вместо него пустые козлы: «Преступник секретный, тела не имеет». Абакумов был отчасти секретным начальником. На обязательных по ритуалу плакатах с портретом и биографией кандидатов была какая-то совершенно непонятная мутная клякса. С нее следовало скопировать портрет в три метра высотой. Даже ордена нельзя было разобрать, но они были перечислены в печатной биографии. Мы разбили эту кляксу на квадратики и нарисовали что-то абсолютно невозможное. По тогдашней простоте нравов в клуб, в котором Абакумов должен был выступить перед избирателями, нас беспрепятственно пропустили на наши обычные места (за мной числилось еще и освещение зала). Когда Абакумов вышел на трибуну, мы с Хачиком переглянулись и чуть не упали. Ничего даже отдаленно похожего на нашу кляксу перед нами не было. Однако, при нашей тогдашней бесшабашности, это нас не испугало, а только рассмешило. Хачик, со своим легким армянским акцентом, который он в комические моменты усиливал, сказал мне: «Ничего, я сейчас подойду к нему и скажу — товарищ Абакумов, дай я тебе сейчас морду на квадратики разобью, — мы живо срисуем».

Однажды ко мне после лекции подошли Зара Григорьевна с Викой Каменской, и Зара Григорьевна предложила мне для приближающейся научной конференции, посвященной Маяковскому, оформить зал, нарисовав, в частности, его портрет. Я экономил все время для научных занятий, которым предавался со страстью алкоголика, тянущегося к бутылке. Участвовать в подобных мероприятиях отнюдь не входило в мои планы. Сильно заикаясь (работая артиллеристом на телефоне, я выработал правильное дыхание и почти не заикался, но оказавшись после демобилизации «на гражданке», я вдруг обнаружил, что в разговоре с девушками или незнакомыми людьми заикаюсь так сильно, как никогда доселе; на заседании кружка я однажды должен был прервать доклад и уйти со сцены), я объяснил Заре Григорьевне, что рисую только за деньги. Ее комсомольский энтузиазм был ошарашен таким цинизмом, и она отошла от меня со слезами на глазах, громко произнеся: «Сволочь усатая!» Это было наше первое объяснение.

Следующий наш контакт был еще менее удачным. На студенческой научной конференции, посвященной Белинскому, Зара Григорьевна, с присущей ей тогда кавалерийской дерзостью, решила сделать доклад на тему «Белинский и романтизм». Доклад вышел неудачный, практически провалился. Марк

Качурин со свойственной ему проницательностью мягко указал на то, что саму концепцию романтизма докладчица извлекла не из материала, а из распространенных штампов. Столь же принципиально, со всегдашней для него тактичностью, высказался П. И. Мордовченко. Меня же черт понес выступить в качестве защитника, и я, сильно заикаясь, произнес несколько либеральных фраз о том, что, с одной стороны, конечно, так, а с другой стороны, нельзя не оценить… Докладчица мужественно перенесла всю критику. Но моей защиты перенести не могла и убежала в женскую уборную, куда за ней торжественно воспрошествовали все девушки. Конечно, тактичность требовала, чтобы я просто удалился. Но я решил, что моя должность мужчины требует утешить, то есть самое худшее, что я мог придумать. Я дождался, пока Зара Григорьевна и другие дамы покинули убежище, и навязался провожать их до дому. (Эпизод этот мы позже вспоминали как критерий полного идиотизма, он стал одной из наших семейных легенд.)

В дальнейшем отношения наши исправились, и накануне ее госэкзамена я был приглашен как консультант, который должен был за ночь «накачать» Зару, Вику и Люду Лакаеву сведениями по XVIII и XIX векам (они были поклонницами Д. Е. Максимова, занимались Блоком и ничего, кроме Блока, знать не считали достойным, зато Блока знали в совершенстве).

До своей поездки в Тарту я исходил ногами не только огромные пространства Союза, но и пересек Польшу, Германию и Прибалтику. Однако ощущение заграницы для солдата совершенно иное, чем для штатского человека. Как сказал в одном месте Лев Толстой, солдат, даже если он пересечет весь мир, все время находится в одном полковом пространстве: все тот же фельдфебель, все та же батальонная собачка, все те же обязанности и интересы. Даже когда в различных перипетиях, в многочисленных отступлениях и окружениях приходилось иногда оставаться одному и сотни километров следовать в одиночестве в поисках своего полка, образ полка постоянно присутствовал и был как бы тем стеклом, сквозь которое просматривался весь остальной мир: направление, задачи, характер действий — все было предрешено. И если приходилось проявлять большую концентрацию индивидуальной воли, то направлена она была на то, чтобы опять влиться в это пространство.

Теперь создалась принципиально иная обстановка. Необходимо было самому решать свою судьбу. Мы ушли в армию мальчишками, вернулись взрослыми мужчинами. Мы научились ответственности. В определенных стереотипных обстоятельствах мы безошибочно знали, что нам следует делать, чтобы быть

честными людьми. Но теперь мы оказались в совершенно других обстоятельствах, для которых у нас не было выработано никаких стереотипов. Мы привыкли быть взрослыми и принимать самые ответственные решения, а вместе с тем мы обладали опытом детей и к стандартным ситуациям были совершенно не готовы. А обстоятельства бросили нас в политическую ситуацию второй половины сороковых годов, категорически требовавшую выбора поведения и индивидуальной ответственности. Одна из особенностей была в том, что когда ледоход времени раскалывал и разносил льдины, то очень часто на разных льдинах оказывались люди, все еще не забывшие совсем недавних фронтовых связей.

Нечто аналогичное отразилось на моих отношениях с Георгием Петровичем Бердниковым. Бердников — однокурсник моей сестры Лиды, Макогоненко и Кукулевича — в студенческие годы находился почти в нищете. Он наверняка не смог бы удержаться на студенческой скамье, если бы не Г. А. Гуковский. Гуковский заметил способного и зажатого нищетой и политическими трудностями студента и по законам, обязательным для старой профессуры, приложил все силы, чтобы помочь ему. Он оказывал Бердникову материальную помощь и помог ему превратить курсовую работу в статью и опубликовать ее в студенческом томе Ученых записок факультета.

На новый сороковой год Лидина группа традиционно собралась в нашей огромной квартире, и я, как это часто бывало, терся среди студентов. Я помню, как, когда часы пробили двенадцать, Бердников поднялся с бокалом в руках{19} и произнес: «Ребята! Мы же люди сороковых годов! Выпьем за сороковые годы!» И все дружно выпили. Действительно, начались сороковые годы.

После войны, в университете, я снова встретился с Ьердниковым. Я восстановился на втором курсе, он — в аспирантуре. Мы оба ходили в гимнастерках, только на его погонах были капитанские звездочки. На войне он служил в штабе пехотного полка, и думаю, что воевал хорошо. Это, а также его частые бывания у нас дома, его женитьба на Тане Вановской, прелестной, милой девушке, подруге и однокурснице Лиды (к которой я, помню, был неравнодушен), придавали некоторый оттенок нашим отношениям даже тогда, когда он начал свой головокружительный карьерный путь. Могу, стараясь сохранить объективность, сказать, что Бердников был не глуп, жесток только в той мере, в какой это было необходимо ему для карьеры (в этой ситуации он был беспощаден), уничтожал людей по холодному расчету, но без удовольствия, — а это, знаете, очень много. При

первой возможности старался хоть чуть-чуть отмыть свои руки. Так, например, сделавшись потом директором театрального института (не имея ровно никакого отношения ни к театру, ни к научному направлению института, но обладая статусом, при котором он мог быть директором не важно уже чего), он постарался вернуть на работу кое-кого из выгнанных в эпоху борьбы с космополитизмом, например Я. С. Билинкиса, и даже прослыл в ленинградских театрально-гуманитарных кругах прогрессистом. На самом деле он был умный, абсолютно беспринципный человек, который ясно понимал, что весь идеологический шабаш продлится недолго и те, кто сейчас так быстро по чужим костям взмывают вверх, так же быстро свалятся вниз. Интуиция его не обманула. Для себя он хотел другой судьбы и добился ее, и сделавши несколько очень крутых поворотов, благополучно дожил свой век.

Передо мной были две возможности: продолжать искать работу в Ленинграде, стучаться в закрытые для меня двери или плюнуть и, сбросив со стола карты, начать какую-то совершенно другую игру. И я выбрал второе. На одном курсе со мной училась милая ленинградская девушка Оля Зайчикова. Отношения наши заключались в том, что мы иногда болтали, встретившись в библиотеке или в коридорах филфака. Ее жених погиб на войне, отношения наши были милые, но довольно далекие. Однажды встретившись с Олей, мы заговорили о наших делах, и она, узнав, что я долго и безуспешно ищу работу, что мне это в высшей мере обрыдло, что я хочу плюнуть и уехать куда-нибудь из Ленинграда (я тогда видел перед собой деревенскую школу и заранее собирал побольше книг, которые можно было увезти), предложила мне позвонить в Тарту, в тот же учительский институт, куда была назначена она и где, как она знала, было незанятое место по русской литературе. Я позвонил директору института Тарнику. Он, выслушав все мои анкетные данные, сказал, что я могу приехать.

Одевшись в слегка перешитый отцовский черный костюм, единственный мой «праздничный», я поехал в Тарту, где остался на всю остальную жизнь.

Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию: работа со студентами доставляла огромное удовольствие, хорошая библиотека позволяла энергично продвигать вперед главы диссертации, в основном уже написанной, дружба с кругом молодых литературоведов, в эту пору обитавших в Тарту, — все

это создавало у меня ощущение непрерывного счастья. Четыре — шесть часов лекций в день не утомляли, а неожиданно сделанное открытие, что по ходу чтения лекции я способен прийти к принципиально новым идеям и что к концу занятий у меня складывались интересные и неизвестные мне вначале концепции, буквально окрыляло.

Диссертация была фактически написана еще в студенческие годы и сразу после окончания университета я подал ее на защиту (это, кажется, было воспринято как нахальство, но, честное слово, это была просто наивность).

Оппонентами были П. Н. Берков и А. В. Предтеченский. К моменту защиты кандидатской у меня уже практически была готова докторская. На это время приходятся важные события моей жизни. Я перешел на работу в университет (количество студентов росло, и появилось добавочное вакантное место; ректор Ф. Клемент предложил мне его). И я женился. Зара Григорьевна переехала в Тарту (мне пришлось при этом преодолеть ее отчаянное сопротивление: она не хотела бросать свою школу и собиралась, как я ей ехидно говорил, «строить социализм в одном отдельно взятом классе»).

Оформление наших отношений было совершенно в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в загс «оформлять наши отношения». Ни я, ни Зара Григорьевна не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был «лекционный» костюм (на семейном языке называвшийся «дым и мрак» — левый рукав его был закапан стеарином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при свечке). Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще (мещанство!). А было нечто, «исполняющее обязанности», перешитое из платья тети Мани — женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны.

Мы пришли в загс. «Пришли» — это не то слово: я буквально втащил отчаянно сопротивлявшуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников Волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство (подруга Зары Григорьевны Люда резюмировала эти речи язвительной формулой: «Личное — взад, общественное — вперед!»). В загсе нас ожидал исключительно милый эстонец, занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего, он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. На Зару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха (отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта

«мещанская» процедура). Заведующий загса печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес: «Да, в первый раз это действительно смешно!» После этого мы устроили брачный пир, пригласив Шапыгина, работавшего в университете на кафедре доцентом. (В его комнате я провел несколько месяцев, пока не получил небольшое отдельное помещение.){20} Он состоял из двух стаканов кофе на каждого и целого блюда булочек со взбитыми сливками — vastlakuklid.

Меня поселили в комнате с «уплотненной» квартире директора продуктового магазина — исключительно милого человека. Эстонец, он был женат на латышке и дома разговаривал по-русски. Жена его была настоящая дама, никогда не работала и вела образ жизни самый светский. Квартиру она содержала в идеальном порядке и каждый день вытирала пыль белой тряпкой. Наша комната, заваленная книгами и отнюдь не сверкавшая аккуратностью, вызывала у нее брезгливое отвращение. Но хуже стало, когда у нас родился сын, а затем появилась нянька Степанида{21} из-под Пскова, которая немедленно развела таких больших и страшных тараканов, каких я ни до, ни после никогда в жизни не видал.

Перед нами закрыли двери кухни, и нам пришлось готовить уже на четверых, включая грудного младенца, на керосинке в коридоре, При этом Степанида неизменно засыпала, предварительно уничтожив все запасы съестного, а керосинка постепенно начинала коптить. Когда мы прибегали с лекции, войти уже было невозможно. Миша сидел почти как негритенок, Степанида спала{22}, а соседка лежала в обмороке.

Но жили мы очень весело: много работали, много писали и постоянно встречались в небольшом, но очень тесном и очень дружественном кругу. Я полностью перешел в университет, Зара Григорьевна работала в учительском институте.

В это время в Тарту приехал Б. Ф. Егоров. Жену его Соню — химика — ректор Клемент пригласил в Тарту. Борис Федорович учился на пятом курсе авиатехнического института, но на пороге окончания, предвещавшего ему хорошо обеспеченное будущее, что было совсем не пустяками в это время, имел смелость резко переменить направление своей жизни, заочно окончить ЛГУ по кафедре фольклора, прибыть в Тарту аспирантом-фольклористом Герценовского института и, быстро защитив диссертацию, сделаться членом кафедры литературы. Когда Б. В. Правдин ушел на пенсию, Егоров принял кафедру. Он перевел в Тарту на открывшуюся после ареста Адамса вакансию своего друга — молодого, исключительно талантливого Я. С. Билинкиса.

В Тарту сложилась небольшая, но интенсивно работавшая и

постоянно обменивавшаяся дискуссиями на теоретические и историко-литературные темы группа. Мы очень часто собирались и часами спорили. Особенно острыми были дискуссии между мной и Билинкисом. Меня, получившего со студенческих лет закалку формалиста, привлекали структурные идеи. Борис Федорович тоже к ним тяготел. Зато со стороны Билинкиса они вызывали резкое неприятие: он называл их дегуманизацией гуманитарных знаний и защищал принципиальный интуитивизм. Исключительно талантливый лектор, он хотел бы и в науку внести вкусовую импровизацию.

В целом мы жили в напряженной и исключительно привлекательной атмосфере, Если же вырывались в Ленинград или в Москву, то только для того, чтобы по уши влезть в архивы.

* * *

В доме, в котором мы жили (я, Зара Григорьевна и дети), по тогдашней тартуской манере двери никогда не запирались. В Тарту это не было исключением. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет.

Утром одного из воскресений, когда я, Зара Григорьевна и дети сидели за завтраком, кто-то энергичными шагами вошел с лестницы и кулаком постучал в дверь. В дверях стоял высокий человек с энергией в лице и фигуре, которая выражала полную готовность вступить в драку. Нас осаждали заочники. Провалившись на экзамене, они часто не уезжали, потому что командировочные им оплачивали только при условии полной успеваемости. Я решил, что это очередной двоечник, который будет сейчас доказывать, что тройку он заслужил. Однако ситуация оказалась иной.

Вошедший представился. Это оказался в ту пору только что прогремевший своей первой повестью «Один день Ивана Денисовича» Солженицын. Не помню, как он представился, но и из слов, и из жестов вытекало, что он приехал бить мне морду. Для того чтобы объяснить ситуацию, придется немножко вернуться назад. В это время наши старшие курсы были достаточно сильными. Зара Григорьевна увлеченно пользовалась несколько расширившимися возможностями вносить в программу новации. Курс советской литературы быстро делался интересным. «Лауреатов» удалось потеснить и за их счет частично ввести эмигрантскую литературу и репрессированных писателей. Все это

было совершено ново. Ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного не было.

Так, на кафедре образовалась небольшая группа студентов, активно под руководством Зары Григорьевны изучавших творчество Булгакова. Один из них, подававший большие надежды, очень способный молодой человек из местных русских, но с детства алкоголик и клептоман (что нам было неизвестно), был участником этих занятий. С рекомендацией Зары Григорьевны и моей, он был гостеприимно принят Еленой Сергеевной Булгаковой и допущен к чтению по машинописной копии еще не опубликованного тогда романа «Мастер и Маргарита». Через некоторое время он стал появляться на кафедре с машинописью этого романа (это был не первый экземпляр, но с карандашной авторской правкой). Он заверил, что получил эту рукопись легальным путем от Елены Сергеевны.

Дальше разыгралась совершенно булгаковская история. Елена Сергеевна взволнованно сообщила нам, что экземпляр «Мастера и Маргариты» выкраден, что она крайне тревожится, поскольку ведет переговоры с Симоновым о публикации (переговоры довольно безнадежные и затянувшиеся, но не прекращавшиеся), и что если рукопись ускользнет за границу и там будет опубликована, то это навсегда (тогда казалось, что навсегда) закроет возможность издания ее в СССР. Я поехал к упомянутому студенту домой — он жил на самом краю Тарту в плотном, совершенно купеческом доме, построенном, вероятно, в десятые годы, с богатым фруктовым садом и высоким забором с запиравшейся калиткой. Первое, что мне бросилось в глаза, — на полках большое количество пропавших у меня книг. Я повел себя несколько театрально, в духе маркиза Позы, о чем сейчас, может быть, стыдно сказать, но из песни слова не выкинешь. Я сделал театральный жест и произнес голосом шиллеровского героя: «Вам нужны эти книги? Я вам их дарю!» (конечно, надо было себя вести проще, но тогда я себя повел так; видимо, именно эта театральность произвела некоторый эффект). После этого я повернулся и опять-таки голосом маркиза Позы сказал, кажется, что-то в таком духе: что если в его душе есть остатки чести, он должен до вечера принести мне рукопись Булгакова, что шарить у него и делать обыск я не собираюсь. После этого я ушел.

Похититель, которого я ждал дома, не появлялся. Ночью (Зара Григорьевна и дети уже спали) я сидел у настольной лампы в темной комнате и ждал. Где-то около двух часов на лестнице раздались шаги. Через незапертую дверь просунулась рука и на стол в прихожей упало письмо (в моем архиве это письмо должно быть). После этого шаги удалились и дверь захлопнулась.

Письмо было совершенно ужасное. Такое письмо могла бы написать смесь Свидригайлова с Мармеладовым. Оно было покаянное, с отвратительными подробностями, с каким-то добавлением юродства, совершенно в духе Достоевского. Письмо сообщало, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне (деталь: бандероль он отправил незаказную, хотя тогда разница в стоимости исчислялась ничтожными копейками, зато незаказные часто терялись).

Эпизод этот закрыл его герою до этого бесспорно ему принадлежавшее место в аспирантуре. По распределению он ушел в пригородную школу недалеко от своего дома, а вскоре спился и умер. Кстати, очень красивый был парень.

И вот эта история получила неожиданное продолжение. Я уже знал от Елены Сергеевны, что вопрос исчерпан (ее задело, что отправлено было простой почтой, а мне, как невольному соучастнику всей этой грязной истории, потом было тяжело с ней встречаться, хотя никаких упреков или обвинений с ее стороны я никогда не слышал). Но оказалось, что Елена Сергеевна некоторое время не знала, что рукопись отправлена к ней. И именно в это «некоторое время» я и услышал в воскресенье энергичный стук в нашу дверь. К счастью, в первых же словах я мог успокоить Солженицына известием, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне и если еще не пришла, то должна прийти сегодня-завтра.

Разговор сразу принял другое направление. Я не помню, о чем мы говорили, но в центре, видимо, был «Один день Ивана Денисовича» и вопрос о возможности устройства в эстонскую обсерваторию или физический институт блестящего астронома NN, который после лагеря хотел эмпирически проверить теоретические расчеты о выделении элементов воздуха (или каких-то газов?) на Луне и о возможности каких-то форм простейшей жизни — он тогда был без работы. Расстались мы уже совершенно спокойно, и в тот же день я зашел к нему в гостиницу и мы довольно долго ходили по Тарту. Позже мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, больше встреч у нас не было.

* * *

В конце шестидесятых годов в Тарту часто приезжала Наталья Горбаневская с сыном (он ровесник Леше). Мы с нею уже были знакомы, и мне нравились очень ее стихи, и между нею и нашим домом установились очень близкие отношения. Летом она жила у

нас на даче и в Тарту у моей племянницы Наташи. В своем стиле она держалась подчеркнуто бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конспирацией этого назвать было нельзя — она ее в корне презирала. За нами уже очень следили, она это знала и сознательно этим бравировала.

В результате мы прожили очень бурное и бурно-веселое лето. Осенью Горбаневская принесла мне целую пачку каких-то листов и сдала на хранение. У меня в кабинете была высокая печка: я на нее все и положил. Грешный человек, я до сих пор не знаю, что там было, поскольку в чужих бумагах рыться не люблю. Не помню через сколько недель (Горбаневская уже уехала в Москву) рано утром позвонили, я открыл двери, и в квартиру, не представляясь и не спрашивая разрешения, вошло человек двенадцать{23}. Некоторых из них я знал. Один был муж моей ученицы, известный пьяница, — потом он специально заходил, извинялся передо мной и расписывал, как ему было стыдно принимать участие в обыске. При этом от него пахло водкой, а она, как известно, пробуждает совесть{24}. Но, видно, дело было не только в водке. Некоторое время спустя он ушел из прокуратуры и перешел на гораздо менее престижную должность юрисконсульта.

Вошедшие начали деловито обыскивать квартиру. Их было очень много, и они наполнили все комнаты. Комнат было три. Первую — самую большую — занимала моя библиотека. Библиотека захватила также и вторую комнату, которая была нашей спальней и кабинетом Зары Григорьевны. А третья была детская. Между прочим, в детской на столе лежал свежий продукт романтических игр Алеши, которому было лет десять, и его приятеля, сына рижского профессора Сидякова (он в это время жил у нас постоянно). Юра Сидяков, зачитывавшийся в эту пору рыцарскими романами и Дюма, организовал «Общество физического уничтожения князей зла и врагов рыцарства». Вскоре один из гостей с торжеством принес мне бумагу и препротивным голосом потребовал, чтобы я объяснил, кто организовал общество, кто в него входит и какие цели общество преследует. Кстати, вид бумаги был настолько очевидно детским, а среди гостей все-таки оказались несколько не лишенных элементарной сообразительности людей, что бумагу не включили в протокол и в дальнейшем в деле она не фигурировала.

Между тем гости занялись исключительно кропотливым и совершенно неперспективным трудом. Они начали вытаскивать книгу за книгой и листать, что, очевидно, вскоре им надоело. Я чувствовал себя погано, поскольку напряженно ожидал, когда же они доберутся до рукописей Горбаневской.

Что же касается Зары Григорьевны, то она, сидя за столом в этой наполненной неприятными гостями комнате, спокойно читала корректуры. Она была действительно поразительно смелый человек, я за всю жизнь не видел ее испуганной.

Уже темнело. Зара Григорьевна, которая демонстративно, даже гораздо более аккуратно, чем обычно, поддерживала обычную семейную жизнь, дала мне и детям ужин. Кагэбэшники смотрели голодными глазами, как мы посреди их толпы закусываем. Может быть, это сыграло решающую роль в том, что, когда необысканной осталась одна только печка, на которой лежал архив Горбаневской, начальник, пробурчав что-то не очень печатное, что можно передать формулой «ничего нет», предложил мне подписать протокол, что я сделал только после того, как они согласились вписать фразу, что ничего запретного обнаружено не было, и представить полный список изъятых бумаг (изъяты были пишущая машинка и машинописи уже опубликованных статей по семиотике){25}.

Недосмотренные шкафы они запечатали, шкафы простояли в запечатанном виде потом около месяца, после чего зашел господин и, выразившись самой красноречивой лексикой, просто снял печати, так и не открыв тех шкафов. Вообще общее впечатление было, что им это занятие ужасно надоело; ситуация стала типично российской, когда позже зашел муж моей ученицы и извинялся до тех пор, пока не надоел мне, а в конце предложил выпить.

Позже я узнал, что ректору по своим каналам они доложили о совсем не столь благоприятных результатах и даже включили формулу, что при обыске были изъяты документы, имеющие антисоветский характер. Это имело то последствие, что по делу Горбаневской обо мне было вынесено особое постановление, которое не влекло «дела», но и не означало оправдания. Этот хвост за мной тянулся еще очень долго и, в частности, послужил основанием тому, что длительное время мне не разрешали заграничных поездок даже тогда, когда все эти основания и все эти запреты перестали активно выполнять.

Бумаги я позже сжег, о чем и сказал Горбаневской, но это не вызвало у нее никакого интереса, поскольку и сами эти бумаги никакого особого криминала в нормальной ситуации не представляли. Литература эта называлась запрещенной, и литературу полагалось рассредоточивать по нескольким безопасным точкам у сочувствующих. Я думаю, в ее романтическом подсознании это выглядело так, что она создала такое запасное хранилище литературы.

* * *

Когда мы приехали в Тарту, «Ученые записки» почти не выходили. Единственный филологический номер содержал только одну, чисто вкусовую статью Адамса о Гоголе. Проведенный в 1958 году в Москве первый в СССР конгресс славистов сделался предлогом, благодаря которому мы получили согласие Клемента на издание целого тома. Это был первый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» — так мы назвали новую серию. Одновременно мне удалось пробить выход монографии, посвященной жизни и творчеству А. С. Кайсарова. Этот труд отнял у меня много времени и сил, но вернее сказать — не отнял, а подарил мне очень много действительно счастливых минут. Так начались тартуские издания по славистике.

Издание первого тома «Записок» было мотивировано конгрессом славистики, однако в дальнейшем (и тут следует сказать спасибо ректору Клементу) нам удалось de facto завоевать себе право на ежегодное издание целого тома «Трудов по русской и славянской филологии», причем в значительно расширенном объеме. А через некоторое время мы добились разрешения на основание еще одной самостоятельной серии — серии семиотических трудов, которые сделались одним из основных дел нашей — Егорова, Зары Григорьевны и моей — жизни…

Слово «семиотика» почему-то дразнило наших московских оппонентов — нападки на это направление велись с двух сторон: с одной — нас обвиняли в деполитизации науки, а с другой — в ее дегуманизации, причем оппоненты часто соединяли свои фронты и в статьях одних и тех же авторов можно было прочитать, что «тартуская школа дегуманизирует литературоведение и обрекает его на безыдейность», Центрами «гуманизма» были ИМЛИ и советский отдел Пушкинского Дома.

Мы действовали по крыловскому принципу: «полают и отстанут». За всю свою научную деятельность, написав и опубликовав несколько сотен работ, я ни разу не отвечал ни на одну из полемических нападок. Это делалось не из «высокомерия», в чем меня неоднократно обвиняли оппоненты, а из-за того, что всегда приходилось экономить время и бумагу. Зара Григорьевна, Борис Федорович и я договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний. Действительно, мы всегда исходили из возможности полного разгрома и ликвидации издания. От этого, с одной стороны, напряженная интенсивность работы, с другой — иногда нарушение стройности композиции; в статью приходилось вставлять то, что в более спокойных условиях можно было бы

превратить в отдельную публикацию.

Научное творчество в эти годы развивалось исключительно быстро, особенно в Москве и Ленинграде. В Москве вокруг Вяч. Вс. Иванова возник целый круг молодых и исключительно талантливых ученых. Это был какой-то взрыв, сопоставимый лишь с такими культурными вспышками, как Ренессанс или XVIII век. Причем эпицентром взрыва была не русская культура, а индология, востоковедение вообще, культура средних веков. Необходимо было научное объединение, но это было нелегко. Тартуский и московский центры шли из разных точек и в значительной мере разными путями. Московский в основном базировался на опыте лингвистических исследований и изучении архаических форм культуры. Более того, если фольклор и такие виды литературы, как детектив, то есть жанры, ориентированные на традицию, на замкнутые языки, считались естественным полигоном семиотики, то возможность применения семиотических методов для сложных незамкнутых систем, типа современного искусства, вообще подвергалась сомнению.

На первой Летней школе на эту тему произошла очень острая дискуссия между мной и И. И. Ревзиным (употребляя слово «острая», я хочу сказать о напряжении в отстаивании научных принципов, которое, однако, не только не препятствовало сразу же сложившимся между нами отношениям чрезвычайной теплоты и уважения, но как бы подразумевало такой фон). Ревзин, гениальный лингвист (я без всяких колебаний употребляю эту оценку), слишком рано умер, именно в тот момент, когда он находился на пороге принципиально новых семиотических идей. Но в первой Летней школе он решительно отстаивал неприложимость семиотических методов к индивидуальному творчеству, ограничивая их пределами фольклора. Идея о неразрывной связи, которая существует между семиотическими методами и замкнуто-традиционными структурами в дальнейшем наиболее последовательно развивалась А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым, обусловив их интерес к детективу как к структуре, в которой законы языка значительно доминировали над текстами. В дальнейшем, правда, и эти исследователи сконцентрировали свое внимание на творчестве Ильфа и Петрова, а затем, еще более расширив текстовое пространство, переместили значительную часть своих интересов в область нарушения правил. Однако вначале их интересы были именно в этой сфере.

Непосредственное столкновение разных школ и, более того, разных ученых, отличавшихся индивидуальными научными особенностями, областями научного опыта, большей или

меньшей ориентацией на традицию или личностное искусство, оказалось исключительно плодотворным, и дальнейшее развитие семиотических исследований многим обязано этому счастливому сочетанию.

Включение, начиная с третьей Летней школы, в тартускую группу Б. М. Гаспарова еще более обогатило общее движение, поскольку принцип разнообразия в единстве получил новое и яркое подтверждение.

Я уже сказал, что на каждый новый том и на каждую Летнюю школу мы смотрели как на последнюю. Это не риторическая фигура. Научное движение совершалось на фоне обстановки, к которой вполне были применимы слова Пастернака:

> А в наши дни и воздух пахнет смертью:
> Открыть окно — что жилы отворить{26}.

На этом фоне складывались две культурные ориентации. Одна, представленная Б. М. Гаспаровым, как бы продолжала установку Пастернака — замкнутость, стремление «не открывать окна». Философия «башни из слоновой кости» была для Б. М. Гаспарова принципиальной (что, кстати, резко противоречило его таланту превосходного лектора, любящего и умеющего овладевать аудиторией). Что же касается З. Г. Минц, Б. Ф. Егорова и меня, то мы стали принципиальными «просветителями», стремились «сеять разумное, доброе, вечное».

Змея растет, сбрасывая кожу. Это точное символическое выражение научного прогресса. Для того чтобы остаться верным себе, процесс культурного развития должен вовремя резко перемениться. Старая кожа делается тесной и уже не защищает, а тормозит рост. На протяжении научной жизни мне вместе с тартуской школой приходилось несколько раз сбрасывать старую кожу. Самый близкий пример — это трудности ее теперешнего состояния, когда почти весь состав переменился, пополнившись новым поколением. А старое поколение заметно сходит со сцены. Как бы ни были грустны отдельные моменты этого процесса, он не только неизбежен, но и необходим. Более того, он был как бы заранее запрограммирован нами. Остается лишь надеяться, что, сбросивши кожу, змея, меняя окраску и увеличиваясь в росте, сохранит единство самой себя.

comments

Комментарии

1

Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. М., 1995. С. 8–51.

2

Впервые: Лотмановский сборник. I. М., 1995. С. 5–53.

3

Лидия Михайловна Лотман (род. 1917) — средняя из сестер Ю. М. Лотмана. (*Примеч. Е. А. Погосян.*)

4

Его брат, авиаконструктор, был арестован. (*Примеч. Л. М. Лотман.*)

5

В дальнейшем я не буду повторять этой оговорки, но ее нужно иметь все время в виду, даже когда я говорю о газетных сообщениях и политических событиях.

6

Позже в партизанском фольклорном тексте, переделанном из песни «Спят курганы темные…», популярной в последний предвоенный год (она из фильма «Большая жизнь»), были такие строки:

Под немецких кисонек (пелось и «ласточек» и «девушек»)
Ты прическу делаешь,
Губы понакрасила, (это тогда был такой разврат!)
Вертишься дугой.
Но не нужны соколу
Выходки немецкие,
И пройдет с презрением
Парень молодой.

А вот текст, который я сам записал в партизанском отряде во время войны (стихи угнанных в Германию мальчиков и девочек):

ДАЙТЕ ОТВЕТ
Задайте вопрос и ответьте.
Любезные дочки страны,
Что может подлей быть на свете
Того, что творите здесь вы.
Меж тем, как кругом погибает
Отчизна……
Народ невозможно страдает,
Страна погибает в крови,
А вам — все равно наслаждаться,
Снабжая Европу собой,
И вниз головою бросаться,
Обняв итальянца рукой.
Иль с чехом в дорожной канаве
Как в брачной постели лежать
И гордость советской……
Везде бесконечно терять.

Это было в Белоруссии, район Скопен, там было много мальчишек из партизанских отрядов — их, наверное, потом всех пересажали. Оттуда начался большой прорыв к Минску — к нам приехал Жуков.

7

Замечу в скобках, что и на фронте я совершенно не сталкивался с этими проблемами. Я иногда раздражал окружающих, как может раздражать всякий человек, например, отсутствием навыков физической работы. Но очень быстро я это преодолел и с тяжелым физическим трудом справлялся легко; в частности, привык таскать тяжелые 160-миллиметровые снаряды. А снаряд, замечу для читателя, абсолютно безопасен, если уронить на землю; чтобы сделаться опасным, он должен быть повернут вокруг своей оси — тогда взрыватель приводится в боевое положение; нам приходилось ронять тяжелые снаряды взрывателем на камни так, что взрыватель совершенно деформировался. Все же экспериментировать в этой области никому не советую. (К сведению любопытствующих, так обстоит дело именно со снарядами, но не с минами.)

8

Рифтин был деканом, провез и сохранил факультет в эвакуации, возвратил его в Ленинград и умер в тот день, когда ему позвонил П. Н. Берков и сказал, что только что война кончилась. Он положил трубку, отошел от стола и умер. Это был замечательный человек и очень крупный ученый.

9

Они отличались тем, что голенище их было в форме усеченного конуса, расширявшегося кверху (немецкие солдаты запихивали туда магазины автоматов), и я со своими тонкими ногами выглядел значительно менее героически, чем мне тогда казалось. Носил я их не из шика, а оттого, что из своей довоенной одежды и обуви я безнадежно вырос. Поэтому весь первый послевоенный год я проходил в военной форме; моя гимнастерка, обвешанная двумя орденами и восемью медалями, выглядела смешно. Но вопрос «как это выглядит?» ни меня, ни кого другого тогда не интересовал — мы были выше этой пошлости. Студентки, которые вернулись из армии, тоже ходили на лекции в кирзовых сапогах и военной форме (например, Ленина Иванова — прекрасная девушка, она вышла замуж за Витьку Маслова). Среди девушек имелась и другая группа, как правило из обеспеченных, чаще профессорских семей — мы их называли «фифами». Они демонстративно бунтовали против нашего аскетизма (то есть красили губы) и нашей «идейности» (ходили на танцы). Заводилой у них была дочь Гуковского Наташа. Судьба ее была трагической, но после ареста отца «фифа» показала себя твердым и мужественным человеком. В дальнейшем мы с ней очень сблизились.

Наташа была на курс старше меня. Когда Гуковский был арестован, а квартира его опечатана (для Наташи оставили только одну комнату) и веселая команда, всегда толкавшаяся вокруг нее, разбежалась, одна, в полузапечатанной квартире, ожидающая ребенка, она энергично боролась за отца и постоянно ездила по следственным чиновникам. Тогда же она вышла замуж за сына Аркадия Семеновича Долинина Костю. Брак этот был со стороны Долинина жестом благородства и смелости — семья была против этого брака, который, видимо, спас Наташу от высылки из Ленинграда. Узнав, когда подошел день ее рождения, я, собрав все свои деньги, купил большой букет роз, прекрасную коробку конфет «Марешаль» и нагрянул с этим к Наташе. За разговорами мы провели весь день почти до темноты и с тех пор стали друзьями, осмелюсь сказать, близкими.

(Юрий Михайлович не вспомнил о том, что значительно ранее этого посещения Наташи Гуковской он в критический момент нанес визит ее семье. В тревожные дни, когда Г. А. Гуковский ждал с минуты на минуту ареста, решительный звонок в дверь заставил всех вздрогнуть; вдруг раздался веселый возглас открывшего дверь: «Это Юра Лотман!» Об этом эпизоде

впоследствии вспоминала Н. Г. Гуковская-Долинина. — *Примеч. Л. М. Лотман.*)

10

Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1957. Т. 5. С. 367. Далее, кроме специально оговоренных случаев, тексты Пушкина приводятся по этому изданию.

11

Еще до начала работы над «Не-мемуарами», во время одного обычного разговора, когда Юрий Михайлович рассказывал о предвоенном времени и настроениях тех лет, я записала несколько фраз о «Николке Перевощикове»: «смеялся над всем — все свое переживал как чужое»; «был пораженец, ждал войны с Америкой»; «обо всем говорил с усмешечкой». На фронте он однажды получил посылку с продуктами из блокадного Ленинграда, а вскоре его семья погибла от голода, осталась одна сестренка, которую Юрий Михайлович видел в Ленинграде уже после войны. (*Примеч. Е. А. Погосян.*)

12

Не могу не упомянуть этого замечательного человека — настоящего рабочего парня (он был слесарем), поэта, влюблявшегося в каждой новой станице самой возвышенной и, как правило, платонической любовью. Помню несколько стихов, сочиненных им в сорок втором году на Кавказе:

Куда ни глянь — повсюду только горы,
Куда ни глянь — кавказские края,
Но среди гор там расположен город,
Где проживает милая моя.

Помню еще такую сцену в Ингушетии, уже на следующий год. Мы спали в сарае на полу, а дочка хозяина на корточках сидела на пороге. Пришел Леша, и я невольно услышал ее слова: «Все спал, мой не спал, твой ждал».

13

Здесь — как и во многих других местах — типичное для автора принижение своего образа: плавал он — в смысле проплываемого расстояния — неплохо, но, никогда специально плаванию не обучавшийся, не знал никаких стилей, а плыл, как он это сам называл, «на бочку». (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

14

Твардовский А. Василий Теркин. Книга про бойца. М, 1976. С. 68.

15

Ср. в «Швейке»:

> Весь фронт во вшах. И с яростью скребется
> то нижний чин, то ротный командир.
> Сам генерал, как лев, со вшами бьется
> и, что ни миг, снимает свой мундир.

(*Гашек Я.* Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Пер. П. Г. Богатырева // Гашек Я. Собр. соч.: В 6 т. М., 1985. Т. 6. С. 165.)

16

О низкопоклонстве и космополитизме: 1948–1949 // Звезда. 1989. № 6.

17

Когда ему нужно было сдавать кандидатский минимум по Радищеву, он меня позвал для консультации. Он поразил меня тем, что при этом все время курил, а окурки приклеивал слюной к стене и все повторял: «Да ты мне лишнего не говори».

18

Характеристика была написана дивизионным писарем, который до этого был солдатом в моем взводе и хорошо ко мне относился, командир дивизиона ее подписал, но, конечно, все хвалебные эпитеты принадлежали писарю; получалось, что я чуть ли не единолично победил фашистского зверя в его собственном логове.

19

Бокалы были наши семейные, старинные, но что пили из них — представления не имею, помню только, что шампанского, конечно, не было.

20

Шаныгин был убежденный холостяк. Мы никогда не убирали — пол был по щиколотку засыпан мусором. Он обзванивал знакомых дам, произнося при этом всегда один и тот же текст: «Юленька! (или Танечка, Сашенька и проч.) Я не спал три ночи (он отличался завидным сном и ужасно храпел). Я раскрыл перед собой свою душу и понял: нет-нет, я вас не достоин. Вы — чистая и святая!» После этого в трубке раздавалась либо готовность пасть с вершин святости, либо возвести и его на них, но он продолжал: «Вы не знаете всей меры моей испорченности. Прощайте — навек».

21

Анахронизм — Степанида Тимофеевна была гораздо позже; как звали эту няньку, я не помню. (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

22

По словам родителей, просыпаясь, нянька бросалась на керосинку с неизменной формулой: «Холера — здынулась!» (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

23

Число участников обыска и их грубость несколько преувеличены. Хотя я сам в это не был в Тарту, сужу по свежим рассказам. Формула, с которой они вошли к нам, стала в нашей семье крылатой: «С Новым годом. Юрий Михайлович, с новым счастьем, Вы меня, наверное, не помните: я — К., работник прокуратуры. Вот, пришли к вам с обыском». Дело происходило в начале января 1970 г. (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

24

Есть такая народная черта: негодяй, а как напьется, придет каяться. Так было и с С. — напьется и придет: «Юрка, я — негодяй, я — мерзавец, я — стукач. Но на тебя (на „ты“ он обращался ко мне тоже только спьяну) я никогда не стучал». Когда КГБ не смогло на кафедре никого нанять, С. взял на себя эту функцию, и это была с его стороны жертва. Но и кафедре, и лично мне он помогал. Однажды, когда нас очень грызли, он мне сказал: «Решения разогнать не было».

25

В действительности, здесь была еще пара сюжетов. Во-первых, кроме бумаг Горбаневской были и свои — «Доктор Живаго». «Четвертая проза», стихи Бродского и проч. (в Москве на это могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в провинции считалось большим криминалом). Во время обыска отец спокойно вынул их из разных мест, положил в портфель и ушел «на работу». Во-вторых, кроме Н. Горбаневской у нас — на второй квартире, где после смерти маминой тети жила моя двоюродная сестра Наташа, — часто живал Г. Суперфин и какие-то свои бумаги то ли оставил, то ли забыл там. Обыск проводился на обеих квартирах одновременно, но на второй гэбисты вели себя гораздо более нагло. О тщательности же обыска я сужу по такой детали. Когда я приблизительно через неделю зашел в совершенно разгромленную вторую квартиру, то подобрал первую же попавшуюся бумажку — это была машинописная копни секретного приложения к договору Молотова — Риббентропа (до сих пор храню эту бумагу). (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

26

Пастернак Б. Рояль дрожащий пену с губ оближет… // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 136.